



"Ранние журавли"

Читайте больше **БЕСПЛАТНОЙ** литературы
в онлайн-библиотеке
mir-knigi.org

Чингиз Айтматов

Ранние журавли

Аксай, Коксай,

Сарысай — земли обошел,

Но нигде такую, как ты, не нашел...

Сыну Аскару

И приходит к Иову вестник и говорит:

«А отроков сразили острием меча...»

Киргизская народная песня

Вновь и вновь пахари пашут поле,

Вновь и вновь бросают зерно в землю,

Вновь и вновь дожди посылает небо...

С надеждой люди пашут поле,

С надеждой люди семена сеют,

С надеждой люди уходят в море...

Книга «Иова» «Тхерагатха» 527536. Из памятников древнеиндийской литературы

1

Озябшая, закутанная в грубовязаную шерстяную шаль, учительница Инкамал-апай рассказывала на уроке географии о Цейлоне, о том сказочном острове, что находится в океане близ берегов Индии. На школьной карте этот Цейлон выглядел каплей под выменем большой земли. А послушаешь — чего там только нет: и обезьяны, и слоны, и бананы (фрукты какие-то), и чай самый лучший в мире, и всякие другие диковинные плоды и невиданные растения. Но самое завидное — жара там такая, что живи себе и круглый год в ус не дуй: ни тебе сапог, ни шапки, ни портянок, ни шубы не нужно совсем. А дрова и вовсе ни к чему. А раз так, не надо ходить в поле за кураем, не надо таскать на себе, согнувшись в три погибели, тяжеленные вязанки хвороста домой. Вот где жизнь! Ходи себе как ходится, грейся на солнце, а нет — прохлаждайся в тени. Днем и ночью на Цейлоне теплынь, благодать, лето за летом идет. Купайся себе сколько влезет, хоть с утра и до вечера. Надоест — ну тогда птицеверблюдов [1] гоняй, птицеверблюды-то там водятся, непременно должны водиться, где же им еще быть, этим огромным и глупым птицам. Умные птицы на Цейлоне — пожалуйста, тоже есть: попугай. Захочешь — поймаешь попугая, научишь его петь и смеяться, а заодно и танцевать. А что — попугай такая птица, все может. Говорят, есть попугаи, которые читать умеют. Кто-то из айльных сам видел на джамбулском базаре читающего попугая. Газету поднесешь попугаю, он и шпарит без запинки...

Да, чего только нет на Цейлоне, каких только чудес. Живи себе и ни о чем не думай. Главное,

не попадаться при этом на глаза баю-плантатору. Тот с кнутом ходит. Цейлонцев по спине стегает, как рабов. Угнетатель! Ха, да ему врезать в ухо так, чтобы в глазах засветилось. Кнут отобрать, а самого заставить работать. И никаких поблажек эксплуататорам и разным другим капиталистам, никаких разговоров: работай сам за себя, и все! Известно, от них ведь и фашисты происходят... Вот и война оттого. Сколько уже людей в аиле погибло на фронте. Мать каждый день плачет, не говорит ничего, а плачет, боится, что отца убьют. А соседке сказала: куда я, говорит, тогда с четырьмя...

Поеживаясь в стилом классе, терпеливо пережидая приступы кашля у ребят, Инкамал-апай продолжала рассказывать про Цейлон, про моря, про жаркие страны. Веря и не веря услышанному (уж очень распрекрасно получалось в тех краях), Султанмурат искренне жалел в тот час, что живет не на Цейлоне. «Вот где жизнь!» — думал он, поглядывая краем глаза в окно. Это он умел. Вроде смотрит на учителя, а сам любуется в окно. Но за окном ничего особенного не происходило. За окном непогодило. Снег сыпал жесткой, секущей крупую. Снежинки тупо шуршали, скреблись, ударяясь в стекла. На стеклах narosла наледь. Помутнели окна. Замазка по краям оконных переплетов взбухла от холода, местами обвалилась на подоконник, залитый чернилами. «На Цейлоне, наверное, и замазка не нужна, — думал он. — А зачем она? Да и окна к чему, да и домов самих не нужно. Соорудил себе шалашик, накрыл листьями — и живи...»

От окна все время поддувало, слышно было даже, как ветер посвистывает украдкой в щелях рамы, уж очень холодило правый бок от окна. Придется терпеть. Инкамал-апай сама пересадила его сюда, к окну. «Ты, — говорит, — Султанмурат, самый сильный в классе. Ты выдюжишь». А раньше, до холодов, здесь сидела Мырзагуль, ее перевели на место Султанмурата. Там не так дует. Но лучше было бы, если б ее оставили тут же, на этой парте. Все равно холод он на себя принимает. Сидели бы рядышком. А то подойдешь на перемене, а она краснеет. Со всеми, как со всеми, а подойдет он, она краснеет и убегает. Не гоняться же за ней. Совсем засмеют. Эти девчонки всегда горазды придумывать что-нибудь. Сразу пойдут записочки: «Султанмурат + Мырзагуль = эки ашык [2]». А так сидели бы рядышком — и ничего не скажешь...

За окном метет. Сыплет снег, сыплет... В ясный день глянешь из класса, — горы всегда перед глазами. Сама школа на пригорке, над аилом стоит высоко. Аил внизу, школа наверху. Потому отсюда, из школы, видимость хорошая. Дальние снежные горы как на картинке видны. Сейчас же едва угадывались во мгле их угрюмые очертания.

Ноги стынут, и руки стынут. Даже спина мерзнет. До чего холодно в классе! Раньше, до войны, школу топили слежавшимся овечьим кизяком. Как уголь: сильно горел тот кизяк. А теперь привезут соломы. Ну погудит-погудит солома в печах, а толку нет. Через пару дней и соломы нет. Один сор только от соломы.

Жаль, что климат в Таласских горах не такой, как в жарких странах. Был бы климат другой, и жизнь была бы другая. Свои слоны водились бы. На слонах ездили бы, как на быках. А что, не побоялись бы! Первым сел бы на слона, прямо на голову между ушами, как нарисовано в учебнике, и поехал бы по аилу. Тут народ со всех сторон: «Смотрите, бегите — Султанмурат, сын Бекбая, на слоне!» Пусть бы тогда Мырзагуль полюбовалась, пожалела бы... Подумаешь, красавица! Нельзя уж подойти. И обезьяну завел бы себе. И попугая, читающего газету. Усадил бы их тоже на слона позади себя. Места-то хватит, на слоновьей спине всем классом можно разместиться. Это уж точно, как пить дать! Не с чужих слов, сам знает.

Слона живого он видел своими глазами, об этом всем известно, и обезьяну живую видел, и разных других зверей. Об этом все знают в аиле, сколько раз сам рассказывал. Да, повезло ему

тогда, посчастливилось...

До войны, как раз за год до войны произошел этот знаменательный в его жизни случай. Тоже было лето. Сено косили как раз. Отец его, Бекбай, в тот год возил горючее из Джамбула на нефтесклад здешней МТС. Каждый колхоз обязан был выделить транспорт для извоза. Отец подшучивал, цену себе набивал: я, говорит, не простой арабакеч [3], а золотой — за меня, за моих коней, за бричку колхоз плату получает от казны. Я, говорит, колхозу банковские деньги добываю. Потому бухгалтер, завидев меня, с лошади слезает поздороваться...

Бричка у отца была специально оборудована для перевозки керосина. Кузова нет, а просто четыре колеса с двумя большими железными бочками, уложенными в гнезда подушек, впереди, на самом облучке, сиденье для ездового. Вот и вся телега. На сиденье том вдвоем ехать можно, а троим уже нельзя, не поместишься. Но зато лошади были подобраны самые что ни на есть лучшие. Хорошая, крепкая пара была в упряжи у отца.

Чалый мерин Чабдар и гнедой мерин Чонтору. И сбруя подогнана к ним добротная, как по примерке. Хомуты, постромки из казенной яловой кожи, смазанные дегтем. Рви — не порвешь. А иначе нельзя в таком дальнем извозе. Отец любил прочность, порядок в деле. Держал всегда хороший ход лошадей. Бывало, как побегут Чабдар и Чонтору в лад, в равном усердии, гривами вскидывая, покачиваясь на плавном ходу, как две рыбины, рядом плывущие, любо смотреть! Люди издали узнавали по стуку колес: «Это Бекбай покатыл в Джамбул». Туда и обратно два дня занимало. Назад возвращался Бекбай — вроде и не проделал сотню с лишним километров. Удивлялись люди: «У Бекбая бричка, как поезд по рельсам, идет!» Удивлялись они не случайно. Уставшую или нерадивую упряжь можно по скрипу колес узнать. Пока проедет мимо, душу вымотает. А у Бекбая кони всегда были на свежем ходу. Потому, наверно, и поручали ему самые ответственные поездки.

вернуться

1

Птицеверблюды (тюякуш — тюрк.) — страусы.

вернуться

2

Эки ашык — двое влюбленных.

вернуться

3

Арабакеч — возчик.

Так вот в позапрошлом году, только отучились, только каникулы начались, отец однажды говорит:

— Хочешь, в город возьму?

Султанмурат чуть не задохнулся от радости. А то бы! Как догадался отец, что ему в город давно хотелось! Ведь он еще ни разу в городе не бывал. Вот здорово!

— Только ты того, не очень шуми, — лукаво пригрозил отец. — А то младшие такой бунт поднимут, что и не уедешь никуда.

Это верно. Аджимурат, тот моложе на три года, ни в чем и никогда не уступит. Упрямый, как ишак. Когда отец дома, к нему не пробьешься, бывало, из-за Аджимурата. Все он крутится возле отца. Точно бы он один, а другие вовсе не в счет. Две младшие сестренки, они ведь совсем маленькие тогда были, и те, бывало, с плачем завоевывали отцовские ласки. Соседи и те не понимали, что за привязанность такая младшего сына к отцу. Бабка Аруукан — строгая, сухая, как палка, со скрипучим голосом, ее все боятся. Так вот, она не раз и не два предупреждала, ухватив корявыми пальцами Аджимурата за ухо:

— Ой, не к добру ты липнешь к отцу, сорванец! Быть на земле большой беде! Где это видано, чтобы мальчишка так тосковал по живому отцу! Что это за дитя такое? Ой, люди, попомните мои слова, на всех нас накличет он беду!

Мать отшепчется, отплюется, подзатыльника отвесит Аджимурату, но бабке Аруукан прекословить не смела. Ее все боялись.

А она, бабка Аруукан, не зря говорила, выходит. Так оно и случилось. Жалко Аджимурата. Он уже большой, в третьем классе, старается виду не показать, держится, особенно при матери, а на самом деле так и ждет, что отец вернется с фронта не сегодня-завтра. Ложась спать, он шепчет, как взрослый, ночную молитву: «Дай бог, дай бог, чтобы отец завтра приехал». И так каждый день. Чудной. Думает, уснет, проснется — и все изменится, произойдет какое чудо?

Но если бы отец вернулся живой с войны, тогда пускай будет он весь аджимуратовским и пусть носит Аджимурата на руках, на голове. Только бы приехал наконец. Лишь бы увидеть его живым и здоровым. С него, с Султанмурата, и этого счастья хватило бы. Только бы вернулся отец.

Как бы он теперь хотел, чтобы повторилось то событие в семье, когда отец возвратился с Чуйского канала. Туда, на стройку, он уезжал позапрошлогодним летом, тоже ездовым, на целых пять месяцев, все лето и осень там пробыл на вывозе грунта. Стахановцем стал.

А приехал домой под вечер. Колеса вдруг застучали на дворе, кони фыркнули. Дети вскочили. Отец! Худющий, загорелый, точно цыган, обросший. И одежда на нем, говорила потом мать, как на бродяге. Сапоги только новые, хромовые. Аджимурат первым добежал, кинулся на шею отцу и прилип, как вцепился, так и не отпуская. А сам плачет взахлеб и только одно твердит:

— Ата, атаке, ата, атаке... [4]

Отец прижимает его к себе, и тоже слезы на глазах. Тут соседи сбежались. Смотрят и тоже плачут. А мать, смущенная и счастливая, бегаёт вокруг, все хочет оторвать Аджимурата от отца:

— Да отпусти же ты отца! Хватит. Не ты один. Дай и другим. Ну какой же ты неразумный. Боже, посмотри, вон пришли поздороваться...

А тот ни в какую...

Султанмурат почувствовал, как что-то стронулось в нем внутри и поползло горячим набухшим

комом к горлу. Во рту стало солоно. А еще говорил, что никогда ни за что не заплачет. Он тут же взял себя в руки. Встряхнулся.

А урок шел. Инкамал-апай рассказывала теперь уже про Яву, про Борнео, про Австралию. Опять же — чудесные земли, вечное лето. Крокодилы, обезьяны, пальмы и разные неслыханные вещи. А кенгуру — это чудо из чудес! Детеныша в сумку на брюхе кинет и скачет с ним, носит его при себе. Придумала же кенгуру, или, вернее, придумалось же такое в природе...

Вот кенгуру он не видел. Чего не видел, того не видел. А жаль. Но зато слона, обезьяну и всяких других зверей посмотрел вблизи. Руку протянуть — достанешь...

В тот день, когда отец сказал, что возьмет его с собой в город, Султанмурат не знал, куда себя деть. Его распирало от нетерпения, от восторга, но вот беда — сказать об этом никому не смел. Если бы Аджимурат узнал, был бы большой рев: почему ему, Султанмурату, можно, а мне нельзя, почему отец берет его с собой, а меня не берет? И что ты тут скажешь? И потому к неумейной радости и ожиданию завтрашнего путешествия примешивалось чувство какой-то вины перед братом. И все-таки очень подмывало рассказать братишке и сестренкам о предстоящем событии. Очень хотелось открыться. Но отец и особенно мать наказали строго-настрого не делать этого. Пусть младшие узнают, когда уже он будет в пути. Так лучше. С большим-большим трудом сумел он преодолеть себя, сохранить этот секрет. Чуть не умер, извелся от тайны. Зато в тот день он был так прилежен, так предупредителен, так заботлив и добр со всеми, как никогда. Все делал, везде поспевал. И теленка перееарканил пастись на новое место, и картошку окучивал в огороде, и матери помог стирать, и самую младшую, Алматай, умыл, когда та упала в грязь, и еще, и еще переделал много разных дел. Короче говоря, в тот день он был таким старательным, что даже мать не утерпела, приснула со смеху, качая головой.

— Что это на тебя нашло? — пряча улыбку, говорила она. — Всегда бы такой — вот счастье-то! Как бы не сглазить! А может, не отпускать тебя в город? Уж больно помощник ты у меня хороший.

Но это она так, к слову. А сама тесто поставила, лепешек напекла на дорогу и разной другой снеди. Масла натопила, тоже в дорогу, в бутылку налила.

Вечером пили чай всей семьей из самовара. Со сметаной, с горячими лепешками. На дворе расположились, у арыка, под яблоней. Отец сидел в окружении младших — с одного боку Аджимурат, с другой девочки. Мать чай наливала, а Султанмурат подавал пиалы, углей досыпал в самовар. С удовольствием все это делал. А сам все думал, что завтра он уже будет в городе. Отец раза два подмигнул ему. Мало того — разыграл на глазах брата.

— А что, Аджике, — прихлебывая чай, обратился он к младшему сыну, — Черногривого своего не объездил еще?

— Нет, ата, — начал жаловаться Аджимурат. — Он такой вредный оказался. Ходит за мной, как собачонок. Я его кормлю, пою, один раз он даже в школу прибежал. Стоял под окном, ждал, когда я выйду на перемену, весь класс видел. А садиться на себя не позволяет, сбрасывает тут же и еще лягается...

— И некому тебе помочь объездить его как следует? — посетовал отец вроде бы между делом.

— Я это сделаю, Аджике, — с готовностью отозвался Султанмурат. — Обязательно сам объезжу...

— Ура-а! — сорвался с места младший. — Пошли!

— Ну-ка сядь на место! — осадил его мать. — Сядь, не суетись. Попьете чай как люди, потом успеете.

Речь шла об ишачонке-двухлетке, любимце Аджимурата. Весной того года его подарил детям дядя по матери — Нургазы. К лету ослик здорово вырос, окреп. Пора было объезжать длинноухого, чтобы приучить к седлу, к работе. Ведь в хозяйстве домашнем всегда нужен подсобный ослик — то на мельницу, то за дровами, то подвезти что-нибудь по мелочи. Поэтому и подарил его дядя Нургазы. Но с первых дней им завладел Аджимурат. Упрямый, шумливый мальчишка окружил ослика такими заботами и опекой, что и не подступит к нему. Чуть что — не трогайте ослика! Я сам его накормлю, я сам его напою. Один раз братья подрались даже из-за этого. Мать наказала старшего, потому что перепало от него младшему. И с тех пор обиду затаил Султанмурат. Когда же настало время объезжать ослика, отмахнулся: раз он твой, сам и объезжай, а меня не проси, мне дела нет. Хотя именно в этом деле Султанмурат был мастак. С детства привык, наловчился. Любил он укрощать неуков. Это как борьба, кто кого. Всех соседских жеребят, бычков, ишачков объезжал всегда он. Молодняк обычно обучает кто-нибудь из ловких мальчишек. Взрослому человеку вес не позволяет. С этой просьбой люди обращались к Султанмурату почтительно: «Султанмурат, милый, будет время, поезди на нашем бычке». Или «Султаке, дорогой, наставь на ум-разум нашего молодого крикуна ишака. Мухе не дает сесть на спину, кусается, бьется. Кроме тебя, некому сладить...»

вернуться

4

Ата, атаке — папа, папочка.

Вот какой славой пользовался он, а брату родному отказывал, еще и посмеивался, издевался, когда тот навернулся раза два с любимого ишака и набил себе синяков на лбу. Дразнил Аджимурата:

— Он за тобой вместо собаки будет следом бегать! Ты еще наплачешься с ним!

Эх, как негоже было, оказывается. Только тогда это понял, когда отец намекнул. Вот каким дураком выглядел он, с младшим счеты сводил самым недостойным образом. И теперь, когда предстояла поездка в город, о которой младший не знал, такие угрызения совести и раскаяние захлестнули, что готов был прощения просить, готов был сделать для него все, что угодно.

После чая пошли с отцом на лужайку за огородами. Вначале собрали все камни вокруг, забросили их подальше. Потом взнуздали Черногривого — так торжественно называл своего ослика Аджимурат. Отец держал Черногривого за уши, а Султанмурат изловчился накинуть уздечку.

Потом подтянул штаны потуже — дело-то предстояло нелегкое. И тут началось цирковое представление. За время вольготного житья под опекой Аджимурата Черногривый успел, оказывается, дурную привычку обрести. Сразу начал брыкаться, вскидывать задом, шарахаться по сторонам. Знал уже, ушлый, как сбрасывать седока. Но не тут-то было. Султанмурат падал, однако не мешкал, сразу же поднимался, вспрыгивал на ходу, ложась животом на хребтину Черногривого, вторым приемом оказывался верхом на осле. Тот опять бунтовать, опять падение, опять попытка...

У Султанмурата все это получалось ловко и даже весело. Все дело в том, что надо знать, как падать! Почему люди говорят, что с ишака сильнее ушибешься, чем с лошади или с верблюда? Казалось бы, должно быть наоборот. Секрет заключается в том, что, падая, надо приземлиться на руки. Когда падаешь с лошади и тем более с верблюда, успеваешь сориентироваться. С ишака неопытный седок падает мешком, не успевает даже сообразить...

Султанмурат это знал по собственному опыту. За него нечего было бояться. Расшумелись, развеселились, раскричались. Отец схватился за живот, хохотал до слез. На шум сбежались мальчишки. У одного из них оказалась собачонка, она решила, что тоже должна принять участие в этой суматохе, и стала с лаем гоняться по пятам за Черногривым. Тот с испугу еще больше припустил, а Султанмурат, на зависть всем, стал показывать «джигитовки», как осоавиахимовцы. На бегу спрыгивал с Черногривого и снова запрыгивал, спрыгивал и снова запрыгивал.

Вот так до войны кавалеристы-осоавиахимовцы тренировались на лугу возле сельсовета. Свои же айльные джигиты занимались после работы. Лозу рубили вскачь. На бегу спрыгивали с седла и снова запрыгивали. Их значками награждали. Красивые были значки, на цепочках, на винтах прикручивались. Завидовали ребята. Всегда сбегались посмотреть, как осоавиахимовцы джигитовали. Где-то они теперь? На конях или в окопах? Конница, говорят, уже не применяется на войне...

И, глянув за окно, Султанмурат подумал, что лошади к тому же мерзнут зимой, а танку и холод нипочем. А все равно лошадь лучше!

...То-то была потеха тогда. Вскоре Черногривый стал смиряться. Понял, что требовалось от него: шагом ходил, рысью ходил, по кругу ходил и напрямую...

— А теперь садись, — позвал Султанмурат брата, — ездай, все в порядке!

Разумянился от гордости Аджимурат, пристукнул Черногривого пятками, то туда, то сюда проезжался — все теперь видели, какой у него умелый агай [5], как тут было не похвастаться!

Вечер стоял светлый, долго не темнело. Домой вернулись довольные, хоть и устали. Аджимурат верхом на Черногривом въехал во двор показаться матери.

Он сразу уснул после этого, ничего не подозревая. А Султанмурату не спалось. Думал о том, как завтра очутится в городе, что там увидит, что ожидает его. Засыпая, слышал, как негромко переговаривались отец с матерью.

— Я бы и младшего взял, вдвоем бы им веселее было, — говорил отец, — да только места нет на этой чертовой бричке. Сидишь там на самом передке, впритык под бочкой. А дорога дальняя, задремлет малый да упадет под колеса.

— Что ты! — перепугалась мать. — Не приведи бог, и не думай, не надо, — зашептала она. — В другой раз как-нибудь успеется. Пусть подрастет. Ты и за этим гляди в оба. Думаешь, большой, куда там...

Сладко засыпалось Султанмурату, сладко было слышать, как тихо разговаривают между собой родители, сладко было думать, что утром, рано-рано утром им отправляться с отцом в путь-дорогу...

И, уже засыпая, испытал он, замирая сердцем, несказанное удовольствие полета. Странно, откуда он знал, как надо летать. Ходить, бегать, плавать дано человеку. А он летел. Не совсем

как птица. Птица машет крылами. А он лишь распростер руки и шевелил кончиками пальцев. И летел плавно, свободно, неизвестно откуда и неизвестно куда, в беззвучном, «улыбающемся» пространстве... То был полет духа, то он рос во сне.

Проснулся вдруг, когда отец тронул за плечо и тихо сказал на ухо:

— Вставай, Султанмурат, поехали.

И прежде чем вскочить с места, на какую-то долю секунды ощутил, как накатилась волна нежности и признательности к отцу за его жесткие усы, прикоснувшиеся к уху, и слова, обращенные к нему. Он еще не знал, что настанет время, когда будет с тоской и болью вспоминать именно это прикосновение отцовских усов, именно эти сказанные им слова: «Вставай, Султанмурат, поехали».

Мать давно уже была на ногах. Она дала сыну выстиранную рубаху, на голову великоватую зеленую фуражку, как у начальников, в прошлом году отец привез ее с Чуйского канала, и ботинки, береженные, тоже привезенные отцом с канала.

— Попробуй надень, не жмет? — спросила она про ботинки.

— Нет, не жмет, — сказал Султанмурат. Хотя, конечно, они чуть-чуть жали. Но это не беда, растопчутся.

Когда они выехали со двора, попрощавшись с матерью, и когда бричка-керосиновозка, громыхая, пошла по воде через большой каменистый арык, сердце его заколотилось, он вздрогнул, поежился от радости, от холодных брызг, ударивших из-под ног лошадей, и понял, что не во сне, а наяву отправляется в город.

Летний ранний рассвет нарождался, как бы наливаясь прозрачным соком. Солнце еще было где-то очень далеко, за снежными горами. Но оно приближалось исподволь, наклеивалось, готовясь вдруг высунуться, засиять из-за горы. А пока было покойно и свежо на похолодевшей за ночь дороге. Жаль, что никто из ребят не видел, как они выезжали с отцом из аила. Только собаки на окраине твякнули спросонья на колесный перестук...

Дорога же шла по пригоркам к степи, к темнеющей вдаль лиловой цепочке невысоких гор. Там, за теми далекими горами, находился Джамбул. Туда лежал их путь.

Сытые лошади деловито трусили ровной рысцой, казалось, не замечая ни сбруи, ни упряжи, бежали себе, привычно пофыркивая и встряхивая челками. Дорога была им хорошо знакома, в который-то раз проделывали они этот путь; хозяин на месте, вожжи в его руках, а то, что рядом с ним сидел на передке мальчишка, то он тоже был своим и ничем, собственно, не мешал...

Вот так они ехали, набрав хорошую скорость. Телега погромыхивала и скрипела, как все телеги на свете. А солнце тем временем всходило где-то сбоку, в расщелине между горами. Свет и тепло покойно и мягко растекались воздушной волной на припотевшие спины лошадей — Чабдар теперь становился чалым, как перепелиное яйцо, а Чонтору все больше светлел, светло-гнедым становился; свет и тепло коснулись бронзовых скул отца, углубляя жесткие морщинки в прищуре глаз, а руки его, держащие вожжи, стали еще крупнее и жилистей; свет и тепло струились на дорогу, под копыта коней живым бегущим потоком; свет и тепло проникали в тело, в глаза; свет и тепло одаряли жизнью все на земле...

Хорошо, отрадно, вольготно было на душе Султанмурата в то дорожное утро.

— Ну как, проснулся? — пошутил отец.

— Давно уже, — ответил сын.

— Ну тогда держи, — передал ему вожжи.

Султанмурат благодарно улыбнулся, этого он ждал с нетерпением. Можно было и самому попросить, но лучше, когда отец найдет нужным доверить — тут тебе не где-нибудь, а езда по большой дороге. Лошади почувствовали, что управление перешло в другие руки, недовольные, уши прижали, куснули друг друга на бегу, точно бы бунтовать-подражаться решили при ослабшей власти. Но Султанмурат сразу дал о себе знать — энергично дернул вожжами, прикрикнул:

вернуться

5

Агай — старший брат.

— Эй вы! Я вам!

Если счастье существует для человека только в настоящем времени и не бывает его ни в прошлом, ни в будущем, то в тот день, в ту поездку Султанмурат испытал его полностью. Не было даже минуты такой, когда бы настроение его чем-либо омрачилось. Сидя рядом с отцом, он был полон достоинства. И оно не покидало его всю дорогу. Громящая керосиновозка другого, быть может, свела бы с ума, а для него то был ликующий перезвон счастья. Пыль из-под брички, зависающая позади, дорога, по которой катились колеса, лошади, дружно печатающие копытами, ладная сбруя, отдающая потным духом и дегтем, легкие белые облака, кочующие высоко над головой, еще не засохшие, зрелые травы вокруг, то желтые, то синие, то лиловатые, арыки и ручьи, разлившиеся на переездах, встречные всадники и телеги, придорожные ласточки, юрко снующие взад и вперед, иной раз чуть ли не задевая морды лошадей, — все это было преисполнено счастьем и красотой. Но об этом он не думал, ибо, когда счастье есть, о нем не думают. Он чувствовал, что мир устроен так, как лучше не может быть. И что отец у него такой, лучше которого не может быть.

Вот даже желтобокие черноголовые полевые птички всю дорогу поют в колючках или в кустарнике одну и ту же заученную трель неспроста. Они знают, для кого они высвистывают. Они-то знают, как их любит Султанмурат. Птички эти — сарайгыры [6], а прозываются они так потому, что всю жизнь понукают свистом своим некоего солового жеребца: «Чу, чу, сарайгыр! Чу, чу, сарайгыр!» Чудные птахи сарайгыры. Но, оказывается, на разных языках они поют по-разному. Однажды приехал в аил киномеханик, веселый русский парень. Султанмурат крутился возле, помогал перетаскивать коробки с лентами, а вечером ему за это выпало первому крутить динамо-машину. В динамо-машине вырабатывается электрический ток, а от тока светятся лампочки, а от лампочек свет на побеленной стене — экран, а на экране живые изображения.

Так вот киномеханик этот прислушался и спросил:

— Что это за птичка за забором поет?

— Это сарайгыр, — объяснил ему Султанмурат.

— А что она поет?

— Чу, чу, сарайгыр!

— А что это значит?

— Не знаю. По-русски должно быть: «Но-о, но-о, желтый жеребец!»

— Во-первых, жеребцы желтыми не бывают, но допустим. Но почему все время: «Чу, чу, сарайгыр!»?

— Потому что птичке этой кажется, что она едет на свадьбу верхом на сарайгыре, едет, едет, но не доедет, и потому кричит: «Чу, чу, сарайгыр!»

— А я слышал другое. Будто сарайгыр играл в карты на базаре. И чуть было не выиграл три рубля, но не выиграл. И потому поет: «Чуть, чуть три рубля не выиграл!» И будет свистеть так до тех пор, пока не выиграет эти три рубля.

— Но когда же он их выиграет?

— А никогда. Так же, как никогда на свадьбу не доедет.

— Вот потеха...

Действительно, с виду не очень уж приметная пичужка, а оказалась такая знаменитая.

Сарайгыры пели всю дорогу. Султанмурат улыбался им:

— Поехали с нами, и там, на базаре, выиграем три рубля!

А они все высвистывали: «Чу, чу, сарайгыр!» — а в другой раз: «Чуть, чуть три рубля не выиграл!»

Спешил Султанмурат, быстрее, быстрее в город. Солнце уже поднялось над самыми горами. Торопил Султанмурат лошадей:

— Чу, чу, сарайгыр! — Это он относил к Чабдару. — Чу, чу, торайгыр! — Это он относил к Чонтору.

А отец приуныл его немного:

— Ты не очень гони. Кони сами знают. И бегут и тело берегут.

— А который из них лучше, ата, Чабдар или Чонтору?

— Оба хороши. И на шаг и на силу. Работают, как машины. Только корми вовремя да вдосталь, да за упряжью следи — никогда не подведут. Надежные лошадки. В прошлом году вон на Чуйском канале работали в болотистом месте, на сазах. Брички с грузом увязали по самые ступицы. Засядет, бывало, кто-нибудь — и ни туда и ни сюда. Хоть караул кричи. Ну прибегут — выручай. Просят. Как откажешь? Приведу своих Чабдара и Чонтору, перепряжем — и вот ведь смотри: говорим — скотина, а умные, понимают, что неспроста впрягли их в чужую упряжь, что выручать надо. Кнутом я их особо не трогал, только голос подам — и они, дай бог чтобы постромки выдержали, на коленях выползут, вырвут бричку из ухабин. Там их, на Чуйском канале, все знали, завидовали: повезло, говорят, тебе, Бекбай. Может, и повезло, да

только уход нужен за лошадьми, тогда и повезет.

Чабдар и Чонтору деловито трусили все той же ровной заводной рысцой, будто им совсем дела не было, что о них говорили. Бежали себе с припотевшими подбрюхами и мокрыми ушами, все так же вскидывая челки на бегу и отмахиваясь от дорожных мух.

— Ата, а который старше? — спросил отца Султанмурат. — Чабдар или Чонтору?

— Чонтору старше года на три. Замечаю я: Чонтору начинает понемногу стареть, сдает иногда. А Чабдар в самой силе. Крепкий, быстрый конь. На нем и на скачках обставишь многих. Раньше о таких лошадях говорили: конь джигита.

Султанмурат обрадовался за Чабдара, потому что Чабдар ему больше нравился. Масть необыкновенная — чалая, в крапинку. Да и сам мерин норова не вредного, красив, силен.

— А мне Чабдар больше нравится, — сказал он отцу. — Чонтору злой. Так и косит глазом.

— Не злой, а умный, — усмехнулся отец. — Не любит, когда ему докучают без дела. — И, помолчав, добавил: — Оба хороши.

Сын тоже согласился.

— Оба хороши, — повторил он, погоняя коней.

Через некоторое время отец сказал:

— Ну-ка, придержи малость, останови бричку. — И посвистел спокойно, выжидательно. — Лошади помочиться хотят, а сказать не могут. Замечать надо.

И в самом деле оба мерина начали мочиться на дорогу шумными, пенистыми струями, а плотная, мелкая, как пудра, пыль под ногами взбухла пузырями, набирая влагу.

Потом они снова двинулись в путь. Дорога все уходила и уходила вперед, а горы позади оставались все дальше и дальше.

Вскоре завиднелись сады городской окраины. На дороге стало оживленней. Здесь отец снова взял вожжи в свои руки. И правильно сделал. Теперь Султанмурату было не до вожжей и не до коней. Начинался город. Он оглушил шумом, красками и запахами. Будто взяли да кинули в бурный поток, и тот понес, кружа и подбрасывая в волнах.

Вот тогда, в тот счастливейший день, и повезло ему как никому на свете: на Атчабаре, на большом джамбулском скотном базаре, оказался приезжий зверинец. Надо же быть такому совпадению; человек первый раз приезжает в город — тут зверинец с невиданными зверями, да еще карусель, да еще аттракцион кривых зеркал.

2

В комнату смеха он ходил три раза. Нахохочется, успокоится и снова туда, к зеркалам, чудовищным и кривым. Ну и рожи, ну и дела! Век думай, не придумаешь такого — хоть стой, хоть падай!

Оставив бричку для присмотра у знакомого чайханщика, отец водил его по базару. Вначале здоровались с друзьями отца — со здешними узбеками. «Ассалам алейкум! Вот мой старший сын!» — представлял Бек-бай сына. Узбеки привечали Султанмурата, привстав с места и

прикладывая руку к груди. «Вежливый народ! — довольно отзывался отец. — Узбек не посмотрит, что ты младше годами, — всегда уважит...»

Потом ходили по торговым рядам, по магазинам и, главное, по зверинцу. Проталкиваясь в толпе, заглядывали во все клетки и загоны. Слоны, медведи, обезьяны — кого там только не было...

Особенно запомнился Султанмурату огромный, серо-пепельный, как бугор после выжженной травы, слон, все переступающий с ноги на ногу и раскачивающий хоботом. Вот это да! Стояли люди, глазели на слона и всякие байки рассказывали. Что он мышей боится. Что дразнить его нельзя, не дай бог, сорвется с цепей, порушит весь город на мелкие черепки. Но больше всего понравился Султанмурату рассказ одного старика узбека, тот сказал, что слон — самое умное животное на свете. Хоботом поднимает он здоровенные бревна на лесных работах, но и хоботом младенца подберет с земли, если змея или еще какая-нибудь опасность угрожает ребенку, а взрослых поблизости нет.

вернуться

6

Сарайгыр: сары — соловая масть, айгыр — жеребец.

Такие рассказы и отцу нравились. Стоял он, удивленно покачивая головой, цокая языком, и каждый раз обращался к сыну: «Ты слышал? Вот ведь какие чудеса бывают на свете!»

Ну и, конечно, запомнилась комната смеха. Там над самим собой смеешься сколько тебе влезет...

Султанмурат покосился на Мырзагуль, сидящую через несколько парт. «Тебя бы туда, в комнату смеха! — подумал он озорно. — Сразу бы по-другому заговорила, красавица! Как увидела бы себя в тех зеркалах, перестала бы важничать». Но он тут же устыдился своих мыслей. Чего он к ней пристал, что плохого она ему сделала? Девочка как девочка, ну красивая, красивее всех в классе. Так что, виновата, что ли? Бывает, и «жаман» [7] схватывает.

Однажды учительница отобрала у нее на уроке зеркальце. Рано, говорит, любоваться начала. Мырзагуль сделалась красной-красной от стыда, чуть не заплакала. А ему почему-то обидно стало за нее. Подумаешь, зеркальце какое-то, а если оно случайно оказалось в ее руках...

Глянув еще раз в ту сторону, Султанмурат пожалел ее. Посинела Мырзагуль, съежилась от холода, глаза влажно поблескивают, как мокрые камни, может быть, она плачет. Ведь у нее и отец и брат на фронте... А он о ней так плохо думает. Вот дурак, действительно дурак.

Многие в классе кашляют от простуды. Может быть, и самому покашлять? И он стал нарочно кашлять, вздрагивать и кривляться. А что, все кашляют, а он чем хуже? Инкамал-апай покосилась на него многозначительно и продолжала свои объяснения.

3

После зверинца и комнаты смеха пошли они на толкучку. И здесь купили подарки. Аджимурату пугач, новенький, красивый, сверкающий металлическим блеском, загляденье, прямо как всамделишный наган. А девочкам какие-то мягкие цветные мячики на резинке.

Подергаешь резинку — и мячик подскакивает то вверх, то вниз. Матери платок купили и потом разных сладостей...

Весь базар обошли, все повидали, на карусели только не стал он кататься, да и отец не предложил. Это, говорит, для малышей, а ты уже джигит, года через два женить тебя будем. Пошутил. Ну, постояли возле карусели, поглядели. А потом отец заторопил. Надо, говорит, успеть на станцию, на нефтебазу, залить бочки — да в обратный путь. Время уже позднее. И правда, солнце уже клонилось за город, когда они приехали на нефтебазу. Отсюда поехали окраиной, подкрепились в попутной чайхане пловом и двинулись назад.

В сумерках покинули пригородные сады и снова очутились на той дороге, по которой приехали днем в город. Вечер стоял теплый, настоящий на запахах летних трав. Лягушки заквакали в придорожных арыках. Лошади шли мерным шагом, с полными бочками не очень-то побежишь. Мало-помалу Султанмурата стало клонить ко сну. Устал. Как не устать — день-то был всем дням день. Жаль, что негде было на бричке растянуться и уснуть. Уж очень хотелось спать. Привалился Султанмурат к плечу отца и заснул как ни в чем не бывало. Время от времени просыпался на ухабинах и снова засыпал неодолимым сном. И, перед тем как уснуть, всякий раз успевал подумать, как здорово, что на свете есть отцы. Покойно и надежно было ему на крепком отцовском плече. А бричка погромыживала и поскрипывала, кони стучали копытами.

Не помнил Султанмурат, сколько проехали, только вдруг бричка остановилась. Колеса перестали стучать. Все умолкло. Отец поднял его на руки и куда-то понес.

— Вот какой вымахал, не утащишь. Тяжеленный какой стал, — бормотал он, прижимая его к груди.

Потом уложил его на кучу сена, прикрыл фуфайкой и сказал:

— Ты спи, а я выпрягу лошадей попасться.

Султанмурат даже глаз не открыл, так хорошо спалось. Только подумал опять: как здорово, что на свете есть отцы...

Потом он еще раз проснулся, когда отец расшнуровал его ботинки и стащил с ног. Как же они жали, оказывается, целый день, эти ботинки. И как отец догадался, что они жали ноги?

И он снова заснул, ощущая телом полную свободу, точно бы поплыл, отдавшись на волю беспрепятственному течению. Чудилось ему, волны ветра шли перекатами по верхам раздольного разнотравья. Он бежал по той траве, нырял, окунаясь в ее перекаты, и в ту высокую плывущую траву беззвучно падали сверху звезды. То в одном, то в другом месте круто падала бесшумно горящая звезда. Но пока он добегал, звезда угасала. Он знал, что ему снился сон. Просыпаясь иногда, он слышал, как стреноженные лошади скусывали под корень молодую траву и как переступали они вокруг копны, позвякивая отпущенными удилами. Он знал, что отец спит рядом, что ночуют они в поле, что стоит ему открыть глаза — и он действительно увидит звезды, падающие с неба...

Но ему не хотелось открывать глаз, уж очень хорошо спалось. После полуночи стало подхолаживать. Все ближе подвигаясь к отцу, он приткнулся под боком, и тогда отец обнял его спронею, поплотней прижал к себе. В дороге, в чистом поле, под открытым небом спали они. Это тебе не дома, не на мягкой подушке...

Часто потом вспоминался ему звездный сон...

Перепелка по соседству звонко булькала до самого рассвета, в двух шагах... Наверно, все перепелки на свете счастливые.

4

— Султанмурат, что с тобой? — Инкамал-апай подошла к его парте, и только тогда он заметил ее.

— Да нет, ничего. — Как бы оправдываясь, Султанмурат встал с места.

В классе все так же было холодно и тихо. Послышались смешки ребят, привычный кашель.

— То ты кашляешь ни с того ни с сего, то не слышишь вопроса, — недовольно проговорила Инкамал-апай, зябко передергивая плечами. — Иди лучше принеси соломы и затопи печь.

Султанмурат с готовностью кинулся исполнять. Еще бы, такое не всегда бывает среди урока. На переменах дежурные приносят в класс солому и протапливают печку, но на уроках такое редкость.

Он выскочил на крыльцо. Ветром и снегом ударило. Эх, это тебе не Цейлон! Пробегая через двор к сараю, где лежала солома, увидел, как сходил с коня председатель колхоза Тыналиев, раненый фронтовик. Сам молодой еще, а ходит кособоко. Сколько-то ребер у него не хватает. Оказывается, он с парашютом прыгал, десантником назывался. А до войны агрономом был, говорят. Султанмурат, однако, этого не помнил. Все довоенное — как иной мир, уже и не верится, что была она, довоенная жизнь...

Захватив большую охапку соломы, Султанмурат вернулся в класс, отворяя двери ногами. Ребята зашущукались, оживились.

— Тише, не отвлекайтесь! — потребовала Инкамал-апай. — А ты, Султанмурат, занимайся своим делом, и без лишнего шума.

В печке, в самой сердцевине нагоревшей соломенной золы сохранился, как младенческое дыхание, тлеющим огонек. Его-то и раздул под пучком соломы. Потом подложил еще пучок, еще и еще, печь загудела, пожирая солому. Успевай только подкидывать. Веселей стало в классе.

Хотелось обернуться к ребятам, показать кое-кому рожицу, посмешить, а кое-кому пригрозить кулаком на всякий случай, особенно Анатаю на задней парте. Он, видите ли, самый старший, ему пятнадцать с половиной лет, задиристый, да и к Мырзагуль, случается, пристаёт. Дулю бы ему показать. На, мол, на! Но нельзя этого делать. Учительница строгая. Да и не хочется лишний раз огорчать ее. Что-то в последнее время писем нет от ее единственного сына. Он командир, артиллерист. Очень она им гордится. А муж ее куда-то исчез еще до войны, что-то плохое с ним случилось. Не говорят даже люди, что с ним случилось. Потому она и приехала в аил и стала здесь учительствовать. Сын же ее занимался в педучилище в Джамбуле, оттуда и пошел на фронт. Как увидит в окно верхового почтальона Инкамал-апай, прямо с урока посылает кого-нибудь за письмом. Тот выбегает во двор и, если письмо, во весь дух назад. Существует даже очередь — кому в следующий раз выбегать за письмом для учительницы.

Когда приходит письмо, это целый праздник! Инкамал-апай тут же быстро пробегает глазами коротенькое письмецо и когда поднимает голову от бумаги, то вроде бы другая учительница появляется в классе. Невозможно оставаться спокойным, видя, как радуется твоя учительница с седыми прядями, аккуратно подоткнутыми под платок, невозможно, чтобы сердце не сжалось

при виде слез на ее глазах.

вернуться

7

«Жаман» — оценка «плохо».

— Всем вам, ребята, большой привет. Ваш агай жив-здоров. Воюет, — говорит она, удерживая дрожащий голос, и никак не удается классу скрыть свою радость за нее. Все улыбаются ей, как бы тянутся к ней, разделяя ее счастье. Но в следующую минуту она напоминает: — А теперь, ребята, продолжим наше занятие.

И тогда наступает самое прекрасное, самое лучшее в учении: слова ее как бы умножают свои силы, мысль рождает мысль, и все, что она рассказывает, объясняет, доказывает, проникает в ум и души учеников. Это ее взлет, и класс сидит замороженный...

В последние дни что-то тревожит ее, что-то тревожит... И, наверное, потому, когда в дверях класса появляется председатель колхоза Тыналиев в сопровождении завуча, Инкамал-апай медленно отступает к доске. И все-таки находит в себе силы сказать:

— Встаньте, ребята. А ты, Султанмурат, иди на свое место.

Захлопнув дверцу печки, Султанмурат быстро вернулся к своей парте.

Пришедшие поздоровались.

— Здравствуйте! — ответил им класс.

Наступила настороженная пауза. Никто не кашлянул даже.

— Что-нибудь случилось? — спросила Инкамал-апай. Голос у нее перехватило.

— Ничего плохого не случилось, Инкамал-апай, — успокоил ее сразу Тыналиев. — Я пришел по другому делу. Разговор у меня к ребятам. А что на урок вторгся, извините — мне разрешили, — кивнул он в сторону пожилого завуча.

— Да, разговор важный, — подтвердил завуч. — Садитесь, ребята.

Класс разом сел.

Председателя колхоза все знали, хотя председательствовать он стал недавно, с осени, после возвращения с фронта, да и сам он знал, пожалуй, тут всех. Не для знакомства же он пришел. Да и с чего бы? Ученики седьмого класса — это уже приметный в аиле народ. С каждым из них, семиклассников, разговор мог состояться дома, в конторе, на дороге, где придется в аиле. Но чтобы председатель пришел в школу на урок для особого разговора с учениками, такого еще никогда не бывало. Да и что за разговор, какой может быть разговор? Летом другое дело, все до единого работают в колхозе, а сейчас какой разговор?

— Дело у меня такое, — начал Тыналиев, внимательно всматриваясь в напряженные лица ребят и все время сясь держаться прямее, чтобы не так бросалась в глаза его кособокость. — Холодно у вас в школе, помочь я вам ничем не могу, кроме соломы. А солома, известно,

вспыхнет и погаснет. Кизяк, которым прежде топили школу, вывозили с гор вначале вьюком, а потом перегружали в телеги. В прошлом году заниматься этим было некому и некогда. Все на фронте. Есть у меня под замком две тонны угля, которые я купил в Джамбуле у спекулянтов. Это уголь для кузницы. Купил я железа для кузницы, тоже у спекулянтов. Мы с ними когда-нибудь сочтемся. А пока положение очень тяжелое. И на фронте тяжелое. В прошлом году мы не справлялись, не успели засеять гектаров двести озимой пшеницы. Никто не виноват. Война. Можно и так. Но если везде, во всех колхозах и совхозах недоберут, недосеют, недоделают, как мы у себя, то, может случиться, врага не одолеем. Да, чтобы одолеть такую силу, надо иметь и хлеб и снаряды. Я и пришел к вам, ребята, придется кое-кому из вас оставить пока школу. Время не ждет, надо готовить тягло к весновспашке, а тягло у нас — страшно смотреть, довели, на ногах едва держится. Надо готовить сбрую, а она вся разбитая, надо ремонтировать плуги и сеялки, а инвентарь у нас под снегом... К чему я все это говорю? К тому, что недосеянные площади озимой мы обязаны перекрыть яровыми посевами. Во что бы то ни стало, безоговорочно, как на фронте! А это значит сверх плана собственными силами дополнительно вспахать и засеять двести гектаров яровых. Две-е-сти! Вы понимаете? А где взять силы, на кого опереться? И решили мы ко всему тому, что у нас есть и что уже делается к весенней кампании, подготовить дополнительно еще одну бригаду плугарей, двухлемешников. Думали, гадали. Женщин послать не можем. Это далеко, в Аксае. Людей нет. Решили обратиться к вам за помощью, к школьникам...

Вот так говорил председатель Тыналиев, суровый и замкнутый человек, ходивший в своей неизменной армейской серой шинели, в которой он, конечно же, мерз, в серой ушанке, с озабоченным заострившимся лицом, а сам молодой еще, скособоченный, с недостающими ребрами, с неразлучной полевой сумкой на боку...

Вот так говорил председатель Тыналиев, стоя у школьной доски с географической картой, возле той самой карты, на которой люди умудрились поместить все земли и моря, включая такие расчудесные теплые страны, как Цейлон, Ява, Суматра, Австралия, где живи себе в удовольствие и плюй в потолок...

Вот так говорил председатель Тыналиев в школе, топленной соломой, от которой больше сора на полу, нежели тепла. И когда он говорил, что надо на далеком Аксае поднять дополнительно сотни гектаров яровых для фронта, пар шел из его рта, как на дворе...

Вот так говорил председатель Тыналиев...

А за окном все вьюжило, кружило, задувало в щели. Султанмурату у окна было видно, как перетаптывался на ветру, как пытался укрыть свою голову от ветра закуржавевший председательский конь у столба. А ветер трепал ему гриву, запрокидывал набок распущенный хвост. Холодно было коню...

Да, тут тебе не Цейлон...

— Не от хорошей жизни я буду отрывать вас от учебы, — объяснил Тыналиев. — Это вынужденная мера. Вы должны понимать. После войны, а может, и раньше, буду жив, сам приведу этих ребят в школу и попрошу, чтобы продолжали учебу. А пока получается вот такая картина...

Потом говорил завуч. Потом снова Тыналиев. Когда в классе началось оживление — ребята стали тянуть руки: я, мол, я хочу на работу, — Тыналиев сразу внес ясность:

— Если кто думает, что я любого возьму, тот ошибается. Кто плохо учится, тот плохо работает.

А во-вторых, хорошему ученику потом легче будет догонять упущенное время. Ну вот ты, Султанмурат, вроде бы самый большой в классе...

Ребята зашумели:

— У нас Анатай самый большой. Ему скоро шестнадцать лет.

— Я не о возрасте сейчас. О росте говорю. Да и не это главное. Ну, вот ты, Султанмурат, — снова обратился к нему председатель. — Ты в прошлом году огороды пахал, так ведь?

— Да, — ответил Султанмурат и встал с места. — Пахал на Аральской улице.

— На двухлемешном, четырехконном?

— Да, на двухлемешном, четырехконном, но я только помогал. То был плуг Сартбая, а его как раз взяли в армию. Огороды запаздывали. Аксакал Чекиш попросил меня помочь.

— Я знаю об этом. Потому с тебя и начал, — сказал председатель.

Все оглянулись на Султанмурата. Он поймал на себе взгляд Мырзагуль. Она глянула на него как-то по-особому, не так, как другие, и сама покраснела вдруг, точно речь шла о ней. И ему стало неловко от этого, даже сердце заколотилось.

— Я тоже пахал огороды! — выкрикнул с места Анатай.

— И я, — вставил Эркинбек.

Вслед за этим еще раздались голоса.

Но Тыналиев попросил тишины.

— Давайте по порядку, ребята. Дело тут серьезное. Начнем с учебы. Как у тебя с учебой? — опять обратился он к Султанмурату.

— Да не очень, — проговорил Султанмурат.

— Что не очень?

— Ну, не очень плохо.

— Но и не очень хорошо, — вставила все это время молчавшая Инкамал-апай. — Я ему всегда говорю: ты мог бы учиться гораздо лучше, в сто раз лучше. Он очень способный. Но вот беда — ветер в голове гуляет.

— Да-а, — задумчиво протянул председатель. — А я-то рассчитывал... Ну ладно. Отец у тебя на фронте. Стало быть, будешь добывать для него хлеб. А как у тебя, Анатай?

— Да так же, — ответил тот, набычившись и поднимаясь с места.

— Выходит, один другого не лучше, — усмехнулся Тыналиев и, помолчав, сказал: — Когда вернетесь снова в школу, поймете цену учения. Знаю я, по себе знаю. Чуть что — а, мол, плевать, пойду работать. Да разве для работы одной живет человек? Как ты думаешь, Анатай?

Анатай начал было что-то объяснять, но потом признался:

— Не знаю.

— Я тоже не все знаю, — сказал Тыналиев, — но не будь войны, пошел бы учиться, еще поучился бы.

В классе послышался откровенный смех. Смешно — совсем уже взрослый человек, сам председатель колхоза, а хочет учиться. А им уже надоело, так надоело в школе!

— А что смешного? — улыбнулся Тыналиев. — Да, ребята, очень хотел бы учиться. Это вы потом, попозже поймете.

И тут, пользуясь моментом, кто-то в классе перебил председателя:

— Башкарма-агай, а правда, что вы прыгали с самолета?

Тыналиев кивнул.

Мальчишка не унимался:

— Вот здорово! А не страшно? Я один раз с крыши табачного сарая прыгал на кучу сена — и то колени задрожали!

— Да, прыгал. Но только с парашютом, конечно, — объяснил Тыналиев. — Это такой купол над головой, он распускается, как юрта...

— Знаем, знаем, — хором загудел класс.

— Ну так вот, мы были десантом. Прыгать с парашютом — это была наша работа.

— А что такое десант? — снова раздался чей-то голос.

— Десант, говорите? Это отряд — подвижный, боевой, который забрасывается или отсылается куда-нибудь для выполнения особого, важного задания. Ясно, понятно?

В классе молчание.

— В десанте может быть несколько человек и много тысяч людей, — объяснил Тыналиев. — Важно, что десант уходит в тыл врага и действует самостоятельно. Если не все понятно, расскажу как-нибудь в другой раз. А сейчас займемся делом. Анатай, ты садись, что ты стоишь? Твой отец тоже на фронте воюет.

— И мой!

— И мой тоже!

— И мой!

— И мой!

Тыналиев поднял руку:

— Я все знаю, ребята. Не думайте, что я только колхозом занят с утра до вечера. Я знаю всех, кто в армии, кто в госпитале. Я всех вас знаю. Потому и пришел к вам. Так вот, Анатай, и ты пойдешь добывать хлеб отцу, и тебе придется на год, а возможно, и больше оставить школу.

— Я тоже! И я! И я! — начали было высказывать некоторые. Ведь каждый в таких случаях мнит себя героем. А тут такая оказия — в школу не ходи. Работай на лошадях. Чего еще надо?

— Нет, погодите! — успокоил их председатель. — Так не пойдет. Только те, кто уже имел дело с плугом. Вот ты, Эркинбек. Ты тоже пахал огороды? Отец твой погиб под Москвой, я это знаю. Многие отцы и братья погибли. Тебя тоже, Эркинбек, прошу. Помоги нам. Придется тебе землю пахать вместо учебы в школе. Ничего не поделаешь. А матери твоей я сам объясню...

Потом председатель Тыналиев назвал еще двоих ребят — Эргеша и Кубаткула. И сказал, чтобы завтра с утра все были на конном дворе на утреннем наряде бригадиров.

Дома уже поздно вечером, когда собирались ко сну, Султанмурат рассказал матери о том, как в школу приезжал председатель колхоза. Мать выслушала молча, устало потирая лоб — целый день в колхозе, на ферме, вечером дома с детьми, — а Аджимурат, глупый, возликовал некстати:

— Вот это да! Не учиться в школе! Плугарем быть, на лошадях! Я тоже хочу!

Мать строго спросила:

— Уроки учил?

— Да, выучил, — ответил Аджимурат.

— Иди ложись спать и ни слова чтобы! Ясно?

А старшему она ничего не сказала.

И только потом, уложив девочек, собираясь задуть лампу, пригорюнилась возле нее, решила, наверно, что Султанмурат уже спит, заплакала, положив голову на руки. Тихо и долго плакала, вздрагивая худыми плечами. Тяжко стало на душе Султанмурата, хотелось встать, успокоить, приласкать маму, сказать ей какие-то хорошие слова. Но не посмел тревожить ее, пусть одна побудет. Ведь думает сейчас и об отце (как-то он там, на войне), и о детях (четверо их), и о доме, и о разных других нуждах.

Женщина есть женщина. Часто они плачут, женщины. И учительница Инкамал-апай, когда ушел председатель Тыналиев из класса, тоже очень расстроилась, растерялась даже. Уже прозвенел звонок на перемену, а она сидела за столом и не уходила. И класс сидел, никто не выбежал, ждали, пока учительница встанет с места и направится к дверям. В дверях-то и заплакала Инкамал-апай. Старалась выдержать, и не получилось. Ушла в слезах. Мырзагуль понесла в учительскую забытую карту и тоже вернулась с мокрыми глазами. Да-а, конечно, женщины есть женщины. Жалеют они всех и потому плачут. А что тут такого, подумаешь, ну год, ну два, а война закончится — снова можно пойти в школу...

С этими мыслями засыпал Султанмурат, прислушиваясь, как мело и мело за окном летучим снегом.

На другой день утром все так же мело. Поземка курилась по насту. Небо отяжелело в сплошных тучах. Замерз Султанмурат, пока дошел до конного двора.

Дело, задуманное председателем Тыналиевым, оказалось гораздо труднее, чем думал Султанмурат вчера. Прежде всего с председателем и бригадиром, тощим рыжебородым старичком Чекишем, раздавшим всем по четыре недоуздка, пошли к загону у старой конюшни.

Здесь на заснеженном дворе понуро бродили извозные лошади, перебирая в полупустых яслях объедки сена. Известно, летом кони бывают справные, зимой теряют тело, но эти — кожа да кости. Работали-работали на них, а зима грянула — бросили в общем дворе. Кормить, следить некому. Корма в обрез. А что есть, берегли на весновспашку.

Ребята остановились в полной растерянности.

— Ну что уставились! — заворчал старый Чекиш. — Думали, вам здесь Манасовых тулпаров [8] на расчалках будут удерживать? Выбирай с краю — и не ошибетесь. Через двадцать дней любой коняга из этих выиграет, как молодой бычок. Даже и не сомневайтесь! Лошадки семижильные — им только корм да уход! А остальное они сами знают!

— Берите, ребята, всем необходимым обеспечим, — подсказал председатель. — Начинайте. Каждому четверка. Какие приглянутся.

И тут случилось неожиданное. Среди этих тощих беспризорных кляч на общем дворе слонялись и отцовские кони — Чабдар и Чонтору. Вначале Султанмурат разглядел Чабдара, по масти чалой признал, потом и Чонтору. Головастые, взъерошенные, на худющих ногах, толкнешь — свалятся. Обрадовался и испугался Султанмурат. Вспомнил разом, как ездили с отцом в город. Какие они были, эти кони, в руках отца. И теперь. Как уверенно и прочно бежали в упряжи справные и сильные тогда Чабдар и Чонтору. И теперь.

— Вот они, поглядите, вот кони моего отца! — крикнул Султанмурат, обернувшись к председателю и бригадиру. — Вот эти, Чабдар и Чонтору! Вот они!

— Правильно! Верно! То бекбаевские лошади были! — подтвердил старик Чекиш.

— Бери их себе, раз такое дело! Бери себе отцовских, — распорядился председатель.

К отцовским коням Султанмурат подобрал еще пару — Белохвостого и Карего. Получилась четверка. Упряжь для двухлемешного плуга. Ребята тоже выбрали себе лошадей.

С этого и началось то, ради чего их отозвали из школы в зиму 1943 года...

Работы оказалось много, куда больше, чем можно было предположить. На конном дворе поспевай, да еще каждый день бегали в кузницу помогать старому Барпы и его хромоногую молотобойцу ремонтировать плуги, с которыми предстояло выходить в поле. То, что прежде было выброшено на лом, теперь приходилось раскручивать, развинчивать, очищать от ржавчины и грязи. Даже старые, затупившиеся лемеха, уже отслужившие свое, и те заново пошли в дело. Кузнецы бились над ними, оттягивали жало, закаляли в огне и воде. Не каждый лемех удавалось отковать, но, если удавалось, Барпы торжествовал. В таких случаях он заставлял молотобойца подняться на крышу кузницы кликнуть ребят с конного двора.

— Эй вы, плугари! — звал их хромоногий молотобоец с крыши. — Бегите сюда, устаке [9] вас зовет к себе!

Ребята прибежали. И тогда старый Барпы доставал с полки еще горячий, увесистый, вороненосизый, наново откованный лемех.

— На, держи, — предлагал он тому, чья очередь была на получение запасного лемеха. — Бери, бери, поддержи в руках. Полюбуйся. Примерь иди к плугу. Прикинь, как он ляжет под отвал. А! Красота! Как жених с невестой сошлись! А на пашне сверкать будет почище ташкентского зеркала. Рожи-то свои будете разглядывать в таком лемехе! А может, и девчонке какой

подарить вместо зеркала, а? Вот будет вечный подарок! А теперь положи вон там, к себе на полку. Увезешь потом на поле. Вот так. В другой раз будет другому. Всем будет. Никого не оставлю без лемехов. Каждому по три пары заготовлю. Единственно зубы себе новые отковать не смогу, а все остальное сработаю. Лемеха вам будут. Вы еще, ребята, много раз вспомните нас на поле. Ведь что главное в плуге — лемех! Ради лемеха все остальное устроено. Лемех силен — борозда сильна. Лемех затупился — плугарь не годится. Вот ведь какая сказка...

вернуться

8

Манасовы тулпары — легендарные скакуны из войска Манаса, героя народного эпоса «Манас».

вернуться

9

Устаке — мастер.

Хорош он был, старый Барпы. Всю жизнь в кузнице. Прихвастнуть любил, но дело свое знал.

В шорную мастерскую тоже приходилось часто навещать. Бригадир Чекиш обязал. Помогите, говорит, сбрую налаживать. Без сбруи, говорит, никуда не двинетесь. Плуги будут, кони будут, но без сбруи все впустую. Тоже верно. Потому каждый заботился, помогал шорникам как умел подогнать загодя сбрую для своих коней.

Но главное, самое основное дело заключалось в уходе за тяглом, за лошадьми. Целый день с утра и до вечера, еще и поздний вечер уходил на работу в конюшне. Домой добирались лишь к ночи, задав на ночь последнюю порцию сена. Спешить, спешить надо было!

Времени оставалось в обрез. Шел уже конец января. Стало быть, на выхаживание тягла оставалось тридцать, от силы тридцать пять дней. Успеют ли рабочие лошади восстановить и обновить силы к началу пахоты — зависело теперь только от самих плугарей. Конь спит, такое уж он создание, а в кормушке перед ним всегда должен быть корм, и днем и ночью...

По расчетам Тыналиева, в конце февраля, сразу, как только земля освободится от снега, плуги должны выйти в Аксайское урочище. Когда-то, в какие-то далекие времена, люди пахали и сеяли на Аксае. Но потом аксайские поля остались почему-то заброшенными. Возможно, потому, что Аксай — место далекое, безлюдное. Да и поля там не поливные, и лежат они все больше по пригоркам... Бригадир Чекиш рассказывал, отец еще ему говорил, что с Аксае пахарь или по миру пойдет, или народ будет скликать, чтобы помогли хлеб вывезти. Перво-наперво — вовремя отсеять. А второе — от дождей зависит урожай на Аксае. Так говорил старик Чекиш.

«Земледелец всегда рискует, но всегда надеется» — так говорил Тыналиев. На то и рассчитывал Тыналиев, на то и готовил силы плугарей — с надеждой, что будет дождь на счастье и будет хлеб аксайский...

Дни шли. К концу недели кони заметно повеселели, отъелись немного, дело пошло на поправку. Днем уже солнце пригревало. Зима вроде задумалась, засобиралась. И потому на

день лошадей выводили на солнцепек, к наружным акурам [10]. На солнцепеке лошади лучше едят и быстрее входят в тело. Все пять четверок, двадцать голов аксайского десанта, стояли в один ряд у длинного акура вдоль забора. К утреннему обходу председателя ребята были уже наготове, каждый возле своей четверки. Это Тыналиев назвал их аксайским десантом. Отсюда и пошло — бригадиры, возчики, конюхи называли их не иначе как десант, десантники, аксайские лошади, аксайское сено, аксайские плуги. Проходя мимо конного двора, люди теперь заглядывали узнать, как дела у десанта. Об аксайском десанте весь аил уже говорил. И все знали, что командиром десанта Тыналиев назначил сына Бекбая Султанмурата. Назначение это не обошлось, правда, без сшибки с Анатаем. Тот сразу заспорил:

— А почему командир Султанмурат? Может быть, мы его не хотим!

Султанмурата эти слова обожгли. Не утерпел:

— А я вовсе не хочу быть командиром! Хочешь, так сам будь!

Ребята, Эркинбек и Кубаткул, тоже вмешались:

— Ты, Анатай, завидуешь!

— Что тебе, жалко? Раз сказали — значит, командир Султанмурат!

А Эргеш заступился за Анатая:

— А чем Анатай не годится? Он сильный! Только ростом чуть ниже Султанмурата. В школе мы выбирали старосту, давайте и командира выбирать... А то чуть что — Султанмурат, Султанмурат!

Тыналиев молча слушал их, а потом усмехнулся, покачал головой и вдруг посерьезнел, суровым стал.

— Ну-ка прекратите шум! — приказал он. — Идите сюда. Встаньте в ряд. Вот так, шеренгой. Раз уж вы десант, то будьте десантом. А теперь слушайте меня. Запомните, командир не избирается. Командир назначается вышестоящим начальником.

— А того начальника кто назначает? — перебил Эргеш.

— Еще более вышестоящий начальник!

Наступило молчание.

— Вот что, ребята, — продолжал председатель. — Война идет, и придется нам жить по-военному. Учтите, я отвечаю за вас головой. У двоих отцы погибли, у троих отцы на фронте. Я отвечаю за вас перед живыми и мертвыми. Но я беру на себя эту ответственность потому, что верю вам. Вам же предстоит отправиться с плугами на далекий Аксай. Много дней и ночей будете одни в степи, как десант парашютистов с особым заданием. Как вы там будете жить и работать, если по каждому случаю спорить да кричать начинаете?

Вот так говорил председатель Тыналиев перед строем ребят на конном дворе. Бывший парашютист стоял перед ними все в той же армейской серой шинели, все в той же армейской серой ушанке, с озабоченным, заострившимся лицом, а сам молодой еще, скособоченный, с недостающими ребрами, с неразлучной полевой сумкой на боку.

Вот так говорил председатель Тыналиев перед строем аксайского десанта, командиром которого он назначил сына Бекбая Султанмурата.

— Ты отвечаешь за все, — говорил он. — За людей, за тягло, за плуги, за сбрую. Ты будешь отвечать за пахоту на Аксае. Отвечать — значит, выполнять задание. Не справишься — назначу другого командира. А пока никаких и ничьих возражений не принимаю.

Вот так говорил председатель Тыналиев в тот день на конном дворе перед маленьким строем аксайского десанта.

Плугари преданно и восхищенно смотрели ему в лицо, готовые выполнить любое приказание. Он стоял перед ними, пожалуй, как сам Манас, сивогривый, грозный, в кольчуге, а они перед ним, как верные батыры его. Со щитами в руках и мечами на поясах. Кто же были те славные витязи, на кого возлагал Манас надежды свои и дела?

Первым был славный витязь Султанмурат. Пусть не самый старший, но шестнадцатый год уже пошел. За ум и за храбрость командиром назначен был он, сын Бекбая Султанмурат. А отец его, самый лучший из всех отцов, был в то время в походе далеко, на большой войне. Своего боевого коня Чабдара он оставил ему, Султанмурату. Еще братец малый у Султанмурата — Аджимурат. Очень любил он братца, хотя тот, случалось, и досаждал ему. А еще тайно любил Султанмурат красавицу Мырзагуль-бийкеч. Прекрасней всех улыбка у Мырзагуль-бийкеч. А стройна была, как туркестанский тополь, а лицом бела, как снег, а глаза — как костры на горе темной ночью...

Вторым витязем был славный Анатай-батыр. Самый старший в отряде, почти шестнадцати лет. Он ничем никому не уступал, разве ростом чуть-чуть. Зато силой наделен был самой большой. Конь у него, как подобает батыру, прозывался Октору — гнедая стрела! Отец Анатая тоже был на большой войне, в далеком походе. И любил Анатай тоже тайно ту же красавицу луноликую — Мырзагуль-бийкеч. Очень жаждал он поцелуя красавицы...

Третьим витязем был милый юноша Эркинбек-батыр. Самый старший в семье. Друг хороший и верный. Печально вздыхал он, бывало, и плакал украдкой. Отец его смертью храбрых погиб в том походе далеко, защищая Москву. Конь боевой Эркинбека, как подобало батыру, прозывался Акбайпак-кулук, что означало скакун в белых носках!

А четвертым батыром был Эргеш-батыр. Тоже друг и товарищ. Пятнадцати лет. Свое мнение высказать он любил, в споры вступал. Но в деле надежным был человеком. Отец его тоже на большой войне, в походе далеко. Конь Эргеша, как подобало батыру, прозывался Алтын-туяк — золотое копыто!

Среди этих батыров был еще пятый батыр — Кубаткул-батыр! Тоже пятнадцати лет, тоже самый старший в семье. Отец Кубаткула в том походе далеко, в той большой войне погиб смертью геройской в белорусских лесах. Кубаткул неутомимый трудяга был. И очень любил, как всякий батыр, своего боевого коня Жибекжала — шелкогривого скакуна!

Вот такие батыры стояли перед Тыналиевым. А за ними, за их щуплыми плечами, за их головами на тонких шеях стояли у коновязи вдоль длинного акура их плуговые четверки — пять четверок, двадцать кляч извозных, которых предстояло впрячь в двухлемешные плуги и двинуться в далекий Аксай...

На Аксай, на Аксай пашню орать, как только снег сойдет! На Аксай, на Аксай, плугом ходить, как только земля задышит!

Но еще снег лежал кругом, лежал еще плотно. Однако дни приближались. И все шло к тому...

вернуться

10

Акур — глинобитная кормушка для стойловых лошадей.

5

И приближались те дни...

Плуговых лошадей для Аксая называли по-разному — кто десантные, кто аксайские, — но факт тот, что недели через две они уже выделялись на конюшне среди других лошадей. Сытые, напоенные, вычищенные аксайцы стояли в ряд вдоль десантного акура, радуя глаз прибывающей силой мускулов, веселым взглядом и чутко прядущими ушами. Проснулся в них конский нор, и каждый конь стал самим собой. Характер, привычки появились забытые. Лошади уже привязались к своим новым хозяевам. Тихо, точно бы шепотом, ласково ржали, оборачиваясь на знакомые голоса и шаги, тянулись шелковистыми доверчивыми губами. И ребята свыкались, уже по-хозяйски покрикивая, лезли чуть ли не под брюхо коням: «А ну-ка, прими ногу, отступи! Стой, стой, дурья башка, успеешь! Ишь тянется, ласкается, хитрюга! Только дулю тебе, ты у меня не один!»

В первые дни плелись, бывало, лошади на водопой, как полуслепые, а потом играть стали, особенно возвращаясь с реки. Гоняли их туда все вместе, каждый верхом на своем боевом коне. Султанмурат на Чабдаре, Анатай на Окторе, Эркинбек на Акбайпаке, Эргеш на Алтын-туяке и Кубаткул на Жибекжале. Окружат табунок со всех сторон и гонят к реке.

Зимой важно, чтобы водопой был удобен, чтобы к воде доступ был не скользкий. Тем более когда много лошадей сразу хотят напиться. Потому необходимо заранее обрубать припай у берегов, соломки подстилать на опасных местах. А в сильные морозы бить проруби. Султанмурат и здесь установил строгое дежурство: кому в какой день заниматься подготовкой водопоя.

Не спеша, не толкаясь пили лошади под присмотром плугарей чистую студеную проточную воду. Вода выбегала сюда из-под льда по каменистой отмели и снова убегала по камням под лед. И подо льдом булькала, позванивала, билась о наст...

Лошади как бы прислушивались, переставали пить, греясь в солнечных лучах. Напившись, они не спеша выходили на дорогу, возвращаясь в конюшню, начинали играть, храпя, раздувая ноздри, распустив хвосты, носились они взад и вперед, взбрыкивая и вскидываясь на дыбы. Ребята скакали вокруг, гарцевали, шумели.

Прошло еще немного времени, и люди к ним стали заглядывать, чтобы полюбоваться на десантных лошадей. Как будто заново рожденные лошади стояли в конюшне. Старики не упускали случая порассуждать на этот счет, что, мол, нет на свете более отзывчивого существа, нежели лошадь, когда она в работающих, добрых руках. Ты ей сделал вот столько добра, с кончик мизинца, а она тебе сторицей отплатит. И разные истории рассказывали: какие были кони в старину!

И только председатель Тыналиев был скуп на похвалу. Взыскательным, колючим взором

осматривал он лошадей и прежде всего самих десантников. Проверял, как и что, как плуги, как сбруи готовы, почему не залатана чья-то штанина на колене — если матери некогда, трудно самому взять иголку в руки? А попоны, когда наконец попоны будут готовы? На Аксай с собой конюшню не повезешь, по ночам будут холода в степи. Торопил, напоминал, что времени остается все меньше, что на Аксае будет поздно делать то, что сейчас надо делать. Случалось, до криков, до ругани доходило, выговаривал бригадиру Чекишу, когда ездовые на можарах не успевали вовремя подвезти клеверное сено, особо берегаемое для плуговых лошадей, и в первую очередь для аксайских.

И кто еще не высказывал особых восторгов, так это матери. Приходили то одна, то другая, выговаривали, что это за наказание такое, придумали какой-то десант, сроду такого не слышали, мало того что мужья на войне, так теперь и сыновья, как солдаты, ни тебе помощи по хозяйству, ни поговорить по душам, только и пропадают на конюшне с утра и до ночи... И многое другое справедливое, если разобраться.

Султанмурату больше всего перепало, на то командир. За всех приходилось держать ответ. А держать ответ перед матерями труднее всего. Его мать и вовсе махнула рукой, устала: «Только бы отец живой вернулся с войны, пусть сам рассудит. А с меня довольно. Спыхватишься, сынок, когда ноги вытяну, да поздно будет...» Жалко было мать, очень жалко, но что мог поделаться Султанмурат, да и любой на его месте. У каждого из десантников по четыре коня и много другой работы. Корми, пои, чисти, корма готовь, и снова корми, пои, чисти, навоз выноси, и снова сначала... А какой это труд — промывать и лечить лишаи, старые, намятые раны на плечах и холках лошадей. Участковый ветфельдшер оставил всякие растворы да мази, лечить приходится самим. Каждый день. Иначе не залечишь. Откормить откормишь, но хомута не наденешь на рану. Вот ведь как. Ни одного коня не было целого, все с болячками на плечах, с разбитыми ногами. Конь не понимает, что его лечат, попробуй удержать.

Когда лошади набрали тело, настоялись, потребовалась проминка, каждого коня каждый день часа полтора рысью гонять, а не то, как говорил бригадир Чекиш, «в плугу вода пойдет с него и пустое место останется». И тут случилась крупная неприятность...

Выехали как-то проминать лошадей все впятером на своих лучших «боевых» конях. Султанмурат на Чабдаре, Анатай на Окторе, Эркинбек на Акбайпаке, Эргеш на Алтын-туяке, Кубаткул на Жибекжале. Вначале рысью, как и полагалось, шли. Вокруг конного двора, потом по улице двинулись, выехали на окраину, здесь по снежному полю порысили. День стоял солнечный, искристый, весенним светом уже присвечивало в воздухе. Горы в вышине белые-белые и такие спокойные и ясные, что, появившись муха на том белом склоне, и та была бы услышана и увидена. Приутихла зима, пригревать стало на солнце.

Кони бежали в охотку. Им тоже не терпелось поразмяться, порезвиться. Припустили поводья, быстрее и быстрее. Так и подмывало понестись галопом. Султанмурат впереди. А Анатай подначивал сзади:

— Давай быстрее, что так тихо!

Но Султанмурат, как командир, не очень-то разрешал развивать скорость. Проминка — это тебе не скачки. Это работа, тренировка лошадей, чтобы потом, в упряжи, им было легче тянуть. Вот так они шли всем десантом. Развернулись на поле и собрались было назад, как услышали с бугра голоса. То ребята возвращались из школы. Увидели десантников и кричат, руками машут. Десантники в ответ тоже кричат, машут. Свой класс, седьмой, шел с уроков, и еще другие классы. Гурьбой шли шумной. И в той гурьбе различил Султанмурат ее, Мырзагуль, узнал сразу. Как он ее отличил, сам не знает, но то была она. По лицу, мелькнувшему в

полушалке, по фигуре, по походке, по голосу узнал. И она, кажется, узнала его. Она тоже бежала вместе со всеми с бугра, что-то крича и размахивая сумкой. Вроде бы даже крикнула: «Султанмура-а-ат!» И го, как бежала она, раскинув руки, как устремлена была к нему, врезалось в память как вспышка, и понял он разом, что думал и тосковал о ней все эти дни... И от радости точно бы волна какая-то подхватила его, и понесла, и понесла, закружила...

Как-то так получилось, все они поскакали галопом, направляясь туда, к бугру, с которого спускались их одноклассники. Быстро помчались, минули поле и пошли на косогор. Они могли проскочить вдоль бугра по откосу, прогарцевать кавалькадой перед восхищенными взорами, а дальше на конюшню. Султанмурат так и рассчитывал. И вот тут Анатай вырвался вперед. Его Октор был резвый конь.

— Стой, куда ты, не скачи! — предупредил его Султанмурат, но Анатай даже не оглянулся.

Странная мысль ожгла Султанмурата: «Это он хочет, чтобы она увидела его!» И разозлился, не стерпел, загорелся азартом и припустил вслед Чабдара, закричал, заиггикал, прилег к гриве, наступать стал Анатай. А Анатай еще больше нахлестывает. И пошли они наперегонки, кто кого, кто первым к ней, кто покажет свое удалство и превосходство. Ох как здорово они неслись! И все равно Чабдар был сильнее, недаром отец говорил, что в нем скрывается большой скакун. Возликовал Султанмурат, настигая Анатай как вихрь! А краем глаза видел, как приостановилась с разбегу гурьба одноклассников, следя за вспыхнувшим состязанием, и видел, видел среди них ее, на нее-то главным образом и смотрел. Ради нее вступил он в это единоборство. И одерживал верх! Обгоняя Анатай, взял чуть выше по склону, чтобы ближе быть к ней, и хорошо, то была великая удача, что пустил Чабдара чуть выше по склону, иначе кто же знает, чем бы все это кончилось. Потому что в следующее мгновение, когда он, поравнявшись бок о бок с Анатаем, обходил его, выигрывая полкорпуса, что-то стряслось в тот момент с Анатаем. Все вскрикнули разом. Натягивая поводья, Султанмурат оглянулся — Анатай позади не было. С трудом умерив разбежавшегося коня, развернулся и тогда увидел, что анатаевский Октор упал, скатился со склона, пропахав в снегу широкий и рваный след, а сам Анатай отлетел в сторону. Ребята бежали к Анатаю, медленно, с трудом встающему со снега.

Перепугался Султанмурат. А когда подскочил, увидел кровь на руках Анатай и еще больше испугался. На секунду встретился взглядом с Мырзагуль. Бледная и растерянная была она и все равно самая красивая... Анатай, придя в себя, побежал к коню, барахтающемуся внизу в сугробе. Запутался конь в поводьях. Тем временем подоспели сзади остальные десантники. Все вместе помогли лошади подняться на ноги. Тут только расслышал Султанмурат голоса и понял, что вроде бы все обошлось благополучно.

Вот таким конфузом обернулась попытка батыров покрасоваться на глазах у Мырзагуль-бийкеч. Стыдно было смотреть ей в глаза. Поспешили молча уехать, пора было возвращаться на конюшню. И, только приближаясь к аилу, заметил Эргеш, что Октор под Анатаем хромает.

— Стой! — окликнул он. — Ты что, не видишь, что конь у тебя хромает?

— Хромает? — растерянно спросил Анатай.

— Ну да! И еще как!

— А ну поезжай вперед, — велел Султанмурат. — Поезжай, а мы посмотрим.

В самом деле, Октор сильно припадал на переднюю правую ногу. Стали ощупывать и обнаружили: сустав запястья начал уже припухать. Скверно получалось. Не знали, как и быть.

Готовили, готовили коня к плугу и вот доигрались. Разве можно было устраивать скачки по заснеженному склону, ведь на каждом шагу лошадь может поскользнуться и покатиться вниз. Так оно и произошло. Хорошо еще сами не убились.

— Это ты виноват! — сказал вдруг Анатай, покрасневшись и разозлившись. — Это ты пошел наперегонки!

— А разве я тебе не кричал: «Стой, куда ты?»?

— Так не надо было обгонять!

— А зачем же ты поскакал?

Расшумелись, заспорили. До драки чуть не дошло. Однако опомнились. Вернулись на конюшню с проминки с хромым конем. Смурные вернулись, притихшие. Без лишнего шума развели лошадей по своим местам, охромевшего Октора тоже привязали у акура, а как быть дальше, сами не знали. Растерялись, затаились. Понимали, что предстояло отвечать. Ребята говорили Анатаю: иди, мол, доложи конюхам, что и как случилось, вот, мол, захромал Октор, как быть? А он ни в какую:

— Почему я должен идти? Я не виноват. Есть у нас командир. Пусть он докладывает.

И опять заспорили, и опять чуть до драки дело не дошло. Больше всего возмущало Султанмурата то, что Анатай вовсе не считал себя виноватым.

— Баба ты! — обозвал его Султанмурат. — Ты на словах только герой! А чуть что — в кусты! Думаешь, боюсь. Раз случилось такое — сам пойду и расскажу.

— Вот и иди. На то ты командир, — не унимался Анатай.

Пришлось Султанмурату набраться духу, рассказать конюху все как было. Тот всполошился, прибежал, стал осматривать покалеченного коня. Шум был большой. Легко сказать — шуточное ли дело тягло потерять перед самой пахотой. И тут бригадир Чекиш нагрязнул. Узнал от кого-то, кто-то успел рассказать. Конюх как раз осматривал ногу Октора — пытался определить, отчего опухоль — растяжение или трещина в кости. И тут топот позади. Все разом обернулись — бригадир Чекиш верхом на коне. Он молча спешил. И пошел к ним грозный и взъерошенный:

— Что у вас тут?

— Да вот думаем, аксакал, растяжение или трещина?

— А что думать! — взорвался Чекиш, багровея от гнева. — Да я их сейчас всех под трибунал! Стрелять буду на месте!

Размахивая плеткой, Чекиш кинулся на плугарей. Ребята побежали врассыпную. Чекиш за ними. Догнать никого не удалось, только еще больше посинел старик от удушья и, все больше распаляясь, кричал, грозя кнутом:

— Кому мы доверили плуговых коней? Да это же вредители! Стрелять всех до одного! Сколько трудов, сколько корму извели впустую! А на чем теперь пахать?

Крича и ругаясь на весь двор, он столкнулся с Султанмуратом. Когда ребята побежали,

Султанмурат остался на месте. Бледный, перепуганный, он стоял, глядя в упор на бригадира, но бежать от ответа не посмел.

— А-а, это ты! И ты еще смотришь на меня! — И не удержался старик Чекиш, протянул командира десантников плеткой через плечо. Но, замахиваясь во второй раз, одумался, захрипел, устрашающе топал ногами: — Беги, сукин сын! Беги, говорю! Убегай! Запору!

Султанмурат стоял отшатнувшись, инстинктивно загораживая лицо руками, не сводя с бригадира перепуганных глаз. Он ждал, как жгучей полосой стегнет вдоль спины хлыст. И собрал все силы, чтобы не побежать, выдержать, устоять...

— Ну ладно! — вдруг сказал Чекиш, удивившись упрямству парнишки. — Остальное получишь, когда отец вернется с войны. Я и при нем тебе еще всыплю за это дело!

Султанмурат молчал. А Чекиш все не мог успокоиться. Топтался взад-вперед, размахивал руками:

— Ты ему говоришь — беги, а он стоит! Ну подумай, ну где мне угнаться за тобой! Куда мне за вами! Побежал бы ради уважения, и мне легче стало бы! А побить — на тебе одежонка худая, да и телом ты жидковат, не для плетки. Было бы что бить! Ну ладно! Прости старика. Вернется отец, поколотите меня, старого, так и быть! А пока давай показывай, что вы тут натворили...

Такая история приключилась в тот день. Досталось Султанмурату. Поделом. Как тут было удержаться бригадиру от плетки. Сколько труда, сколько стараний пропало — куда и на что годен хромой конь? Разве на мясо. Но у кого поднимется рука на рабочую скотину? Единственная надежда была в том — Чекиш и другие знающие люди сказали, — что повреждение не опасное. Пришлось отвести анатаевского Октора к одному старику во двор. Он умел пользоваться лошадями. Клевера, овса подвезли и ежедневное дежурство устроили там. Повезло еще, дней через пять Октора привели в конюшню, дело пошло на поправку.

И вообще та неделя выдалась тяжкая. Дома мать приболела. Вначале ей нездоровилось, а потом слегла с сильным жаром в постель. Пришлось Султанмурату оставаться дома, за матерью, за младшими присматривать. Тогда и бросилось ему в глаза, как скудно и бедно стало у них в доме. Когда отец уходил в армию, держали с десятков овец, теперь не осталось ни одной: двух зарезали на мясо, а других продали в уплату на заем, на военный и другие налоги. Хорошо еще корова имелась, вымя наливалось, телиться должна была вскоре, да аджимуратовский ишак Черногривый бродил на задах. Вот и вся живность. И ту кормить оказалось нечем. На крыше сарая сохранялись в снопах сухие бодылья кукурузы. Посчитал, и оказалось, что для коровы на дни отела едва-едва хватит, если зима не затянется, а задержится — кто его знает, как все обернется. Ишак же должен был сам себе добывать пропитание. Колючки и бурьян ел вокруг двора. А с топливом и того хуже — кизяк на исходе, хвороста-курая на несколько дней осталось. А как потом? Собака Актош и та превратилась в доходягу. Приуныл Султанмурат. Стыдно стало перед собой. День и ночь занятый на конном дворе подготовкой аксайского десанта, не заметил, в какое запустение пришло собственное хозяйство. Разве так было при отце? Сена накашивал отец, на всю зиму и весну хватало. Топлива тоже припасал с избытком. Да что и говорить, вся жизнь была устроена при отце по-иному — надежно, разумно, красиво. И не только дома, а всюду, быть может, во всем мире. Двор их, например, выглядел теперь иначе. Чего-то в нем не хватало, как листьев на дереве по осени. Аил стоит на месте, улицы, дома все те же, а все равно не так, как было при отце. Даже колеса проезжающих по дороге за двором бричек стучат не так радостно, как стучали они при отце, когда он ездил по этим дорогам и на такой же бричке...

Люди, побывавшие в Джамбуле, рассказывали, что в городе такая дороговизна, так голодно и тревожно, что хочется поскорее домой. Значит, и город совсем не тот, каким он был, когда они ездили туда с отцом.

Отчего же так? Выходит, нет отца — и худо стало... Где-то он сейчас, что с ним? Последнее письмо приходило месяца полтора назад. Задерживается, успокаивает мать. Она вздыхает. И действительно, может же письмо задержаться, тем более с фронта. Возможно, там не до писем сейчас никому? В том-то и суть, однако: одно долго, когда письмо задерживается с Чуйского канала, и другое — когда с фронта. Об этом они думают, и мать и все они.

Позавчера к рассвету собака вдруг зашлась от лая, а потом смолкла, заскулила радостно, и раздался стук в окно. Мать встрепенулась, вскочила с постели, хотя и больная лежала. Он тоже кинулся к окну. Кто-то стоял у дома. Мать первая узнала.

— Дядя ваш Нургазы приехал, — сказала она сыну, — иди встречай. — А сама вернулась в постель, стуча от озноба зубами.

Брат матери дядя Нургазы жил в горах, всю жизнь проработал чабаном в соседнем совхозе. Недавно его тоже призвали в армию, хотя он и немолод уже, а из Джамбула его и еще нескольких чабанов вернули домой. При отарах некому стало ходить. Не бросать же стадо на ветер. Хорошо, что дядя Нургазы рядом, нет-нет да и попроведает. Вот и в этот раз, прослышав, что сестра занемогла, спустился с гор ночью, когда отара в загоне. Ненадолго приехал, узнать что к чему да вернуться пораньше на место.

Обветренный, заиндевший, в тяжелой шубе, в большом лисьем малахае, в сапогах с кошмяными голенищами выше колен, вошел он, громадный и кряжистый, пропахший холодом и овечьим духом. И сразу в доме стало тесно и шумно. Сбросив шубу, сел подле постели сестры, взял ее горячую руку в свои тяжелые ладони и молча стал прослушивать пульс. Долго, внимательно слушал, держа ее тонкое запястье в своих твердых, трудно гнущихся темно-коричневых пальцах. Что-то знал, что-то постиг он. Кашлянул, призадумавшись, затем пригладил бороду и сказал Султанмурату, улыбаясь одобрительно:

— Ничего страшного. Простыла она у вас порядком. Холода в нее вошло много. А я как знал, мяса, сала курдючного прихватил... Горячей шурпы [11], перцем и луком попей, чтоб пропотела как следует, — посоветовал он сестре. — А ты, Султанмурат, сними с седла курджун, занеси, что там есть, в дом, а курджун освободи... Я недолго задержусь, отару не заставишь ждать.

Пока мать с дядей разговаривали о житье-бытье, Султанмурат успел огонь развести, вскипятить чай. А тут и младшие проснулись. И сразу все к дяде кинулись с постели, не одетые. Он их кутал в шубу подле себя, а они лезли на колени, на шею. Особенно Аджимурат, любимец дяди, тот совсем превратился в дитя. Ласкался, как теленок, хотя и в третий класс уже ходил. Шапку дядину, лисий малахай надел на себя, камчу [12] дядину в руки, а сам залез ему на плечи, вроде бы на коня.

— Как тебе не стыдно! Слазь! — Султанмурат сдернул его раза два, но дядя Нургазы сам позволял:

— Не трогай его, не трогай, пусть побалуется.

Вот такое веселое, шумное утро выдалось. Аджимурату пора уже в школу, а он и не собирается. Мать вынуждена была прикрикнуть, он и тогда не спешит, все возле дяди крутится, тот тоже стал упрашивать племянника торопиться. С трудом удалось заставить его одеться. Дело дошло

до того, что Султанмурат сам за руку выпроводил брата. Тот упирался и, очутившись за дверью, разревелся. С тем громким ревом и пошел в школу. Жалко стало мальчишку.

Дядя Нургазы рассердился даже.

— Это ты его? — с упреком глянул на Султанмурата.

— Нет, тайаке [13], я его не трогал.

— А почему он так заплакал?

— Не трогал он его, — вступилась и мать, поднимая голову с подушки. — Нет, Нургазы, это он с тоски по отцу. Потому и липнут к тебе дети. Извелись мы. Все время только и ждем. Хотя бы весточки. Скоро два месяца, как ни слышу ни духу...

Дядя Нургазы стал успокаивать мать, просил не плакать, сберегать силы для детей, рассказывал разные случаи, когда человека считали уже не в живых, а от него письмо приходило через полгода. Война, мол, есть война...

В этот раз, подле больной матери, Султанмурат особенно остро почувствовал запустение жизни без отца. Был бы поменьше, как Аджимурат, заревел бы в голос с тоски. И пошел бы, побежал бы с плачем куда глаза глядят. Хотелось хотя бы маленькой надежды. Пусть даже не сразу приедет, но только бы знать, что отец жив, и тогда можно было бы дышать, ждать, держаться. Теперь он хорошо понял свою учительницу Инкамал-апай.

Приходила она однажды на конный двор, ждала, пока запрягут попутную бричку в район. Все в той же грубовязаной шали своей стояла у покосившихся ворот совсем постаревшая, одинокая, с застывшей печалью в глазах. А через день, когда вернулась, не узнать, точно бы подменили старую учительницу. Или, вернее, прежней стала. Даже морщины на лице разгладились. Приветливая, поинтересовалась делами своих учеников. Султанмурат водил ее по двору, показывал десантных лошадей:

— Вот, Инкамал-апай, наши четверки! Вот они все стоят вдоль акура.

— Хорошие лошади, сразу видно, ухоженные, — похвалила Инкамал-апай.

— А если бы вы видели, какие они были, — рассказывал Султанмурат. — Совсем доходяги. В лишаих. Холки натертые, в гное, ноги побитые. А теперь мы и сами их не узнаем. Вот, Инкамал-апай, мой Чабдар. Видите, какой! Отцовский конь. А это Акбакай, вот Джелтаман...

Потом он показывал учительнице сбрую в шорной, уже почти готовую, налаженную для упряжи. Потом пошли посмотреть плуги. Все было в порядке, хоть сейчас запрягай и паши...

Очень довольной осталась Инкамал-апай. И, прощаясь, призналась, что переживала и в душе не согласна была, когда их оторвала от учебы, а теперь видит — не зря пошли на эту жертву. Главное теперь — победить, говорила она, и чтобы люди поскорее вернулись с войны, а потом наверстаем упущенное, наверстаем обязательно...

Оказалось, что учительница Инкамал-апай была у какой-то знаменитой гадалки, которая, если добрая весть выйдет, ничего не берет, никакой платы, оттого что сама радуется чужому счастью как своему. Потому врать она не может. Эта гадалка и поведала ей, трижды повторив гадальный расклад, что сын Инкамал-апай жив. И не в плену и не ранен. А только такое у него задание, что писем писать не разрешается. А когда получит на то разрешение, то — сама

убедится — письма пойдут одно за другим... Сколько тут правды, сколько нет, но рассказывал об этом на конюшне возчик, с которым люди ездили в район.

Подивился было тогда Султанмурат, что сама Инкамал-апай поехала к гадалке, а теперь понял ее страхи и страдания и решил даже посоветовать матери, когда ей станет лучше, съездить к той вещунье, узнать об отце.

Да, тяжело и страшно было думать обо всем этом. Но были и светлые, отрадные мысли, которые возникали как бы сами по себе, как струи воды, поднимающиеся к поверхности в бесшумно кипящей горловине родника. То были мысли о ней, о Мырзагуль. Он вовсе не старался вызывать эти мысли, но они приходили сами собой, как трава из земли, и в том была их радость, их свет, и потому не хотелось расставаться с ними, хотелось думать и думать о ней, о Мырзагуль. И, думая о ней, хотелось что-то делать, действовать, не бояться ничего, никаких бед, никаких трудностей. Но больше всего хотелось, чтобы обо всем этом, о том, как он думает о ней и что он думает о ней, знала бы она сама.

Он еще не понимал толком, как называется все то, что с ним происходило. Но смутно догадывался, что, наверно, это и есть любовь, о которой слышал от других и читал в книгах. Не один раз джигиты, уходящие на фронт, просили его отнести запечатанное письмо какой-нибудь девушке или молодой женщине. Он с гордостью исполнял такие секретные поручения. И никогда никому ни словом не проболтался. Разве дело мужчины болтать о таких вещах! А был даже случай, когда дальний родственник попросил его написать такое письмо. Джаманкул молодой, но малограмотный был, кочевал в горах с отарами, в детстве не учился. А тут повестка в армию. Хотелось, наверно, парню попрощаться с любимой девушкой, рассказать ей, пусть на бумаге, о своих чувствах, поскольку не принято было в аиле встречаться с девушкой до ее замужества. Вот и пришлось малограмотному Джаманкулу обратиться с просьбой к сыну родственников. Джаманкул диктовал, а Султанмурат писал его слова. Тогда Султанмурату показалась смешной и эта затея и то, как переживал Джаманкул, как волновался, выбирая слова, как пересохло у него в горле, пока закончили они то письмо. А перед этим Султанмурат поартачился, заставил уговаривать себя, получил в подарок ножичек с рукояткой из архарьего рога, не подозревая, что не пройдет и года, как сам он будет страдать, как Джаманкул.

вернуться

11

Шурпа — мясной суп.

вернуться

12

Камча — кнут.

вернуться

13

Тайаке — дядя по матери.

Это ведь Джаманкулу принадлежали стихи, сочиненные в одиночестве в горах, которые Султанмурат теперь вспомнил и повторял про себя:

Аксай, Коксай,
Сарысай — земли обошел,
Но нигде такую, как ты, не нашел...

И вдруг он решил, что тоже напишет ей письмо! И то, что найден способ, не испытывая стыда и страха, высказать, передать на расстоянии свои чувства, вызвало в нем желание немедленно действовать, совершать какие-то хорошие дела, чтобы и другим было так же хорошо, как и ему, чтобы и другие испытывали такое же счастье, как и он. Прежде всего он должен помочь матери, чтобы быстрее выздоровела, чтобы меньше страшилась за отца, чтобы снова работала на ферме, чтобы дома стало уютно и тепло и чтобы мать немного догадывалась, что ее сын кого-то любит и оттого вокруг все так изменилось к лучшему...

За эти два-три дня, которые он пробыл дома, Султанмурат переделал уйму работы, за целый год столько не сделал бы. Все наладил, почистил, прибрал. К матери то и дело подходил:

— Как чувствуешь себя? Может быть, что-то надо тебе?

Мать горько улыбалась в ответ:

— Теперь и умирать не страшно. Не беспокойся, если что надо, скажу...

А письмо он написал ночью, когда уже все спали. Очень волновался, хотя никто и ничто не могло ему помешать. Все равно волновался. Вначале обдумывал, с чего начать. И так и эдак примерялся, но всякий раз казалось, что не так и не с того следует начать. Мысли разбегались, как круги на воде от беспорядочно падающих камней. Хотелось сказать об всем, что вынашивал в мыслях, а как только прикоснулся к бумаге, как будто растерял все слова. Прежде всего хотелось рассказать ей, Мырзагуль, какая она красивая, красивее всех в айле, и не только в айле, а во всем мире. Рассказать ей, что для него нет ничего на свете более отрадного, как сидеть в классе и смотреть и смотреть на нее, любоваться ее красотой. Но теперь жизнь обернулась так, что он со своим десантом в школу не ходит, и неизвестно, когда они вернутся на учебу. Теперь он редко ее видит и от этого страдает очень, очень, очень тоскует по ней. Так тоскует, что порой плакать хочется. В этом он не собирался признаваться, мужчина должен оставаться мужчиной, но действительно слезы иной раз подкатывали к горлу. Надо было объяснить ей в письме, что вовсе не зря и не случайно он подходил к ней вроде бы с нахальным видом на переменах и что напрасно она избегала его. У него не было в мыслях ничего плохого. Очень хотелось также объяснить ей тот случай со скачками, когда наглец Анатай вздумал показать, что будто он самый смелый, сильный и вообще самый главный в десанте. Но из этого, как она сама убедилась, у него ничего не вышло. Жаль только, что конь его Октор пострадал. Но самое важное, о чем ему хотелось бы рассказать, — как внезапно узнал ее на бугре в гурьбе одноклассников, и как сразу понял, что любит ее давно и сильно, и то, какая красивая была она, когда бежала с бугра, раскинув руки и что-то крича. Она бежала к нему как музыка, как водопад, как пламя...

Лампу на подоконнике пришлось раза два подправить. Фитиль нагорал. Хорошо еще мать спала в другой комнате и не видела, как он сжигает последний керосин. А письмо все не получалось, и не оттого, что нечего было сказать, а, наоборот, от желания сказать обо всем сразу.

В айле давно уже перестали светиться окошки, давно уже перестали влзаивать собаки, давно все спали той глухой февральской ночью в долине под Манасовым снежным хребтом. За окном

разливалась непроглядная густая тьма. Во всем мире, казалось ему, остались только они — ночь и он со своими думами о Мырзагуль.

Наконец он решился. Озаглавив свое письмо «Ашыктык кат» [14], написал, что оно предназначено живущей в аиле прекрасной М., свет красоты которой может заменить свет лампы в доме. Дальше написал, что на базаре встречается тысяча людей, а здороваются лишь те, кто хочет подать друг другу руку. Все это он запомнил из письма Джаманкула. Потом заверил, что хочет посвятить свою жизнь ей до последнего дыхания и так далее. В заключение вспомнил Джаманкуловы стихи:

Аксай, Коксай,
Сарысай — земли обошел,
Но нигде такую, как ты, не нашел...

6

На другой день, после того как Аджимурат пришел из школы, отправились они с братом за топливом в поле. Оседлали аджимуратовского ишака Черногривого, веревки для вязанок, серпы и рукавицы приторочили к ишачьему седлу. Собаку Актоша позвали с собой. Она охотно побежала с ними. Аджимурат по праву младшего устроился верхом, а старший пошел рядом, погоняя ишака. Не погонишь — не поторопится. Место неблизкое. Знал Султанмурат один уголок, богатый хворостом-сухостоем. Далекое было то место, в балке Туюк-Джар. Весной и летом в ту балку стекались со всех сторон талые и особенно дождевые воды. Гремела балка от взбурливших ливневых потоков и грозových раскатов, а к осени вымахивали в ней заросли твердостеблистых трав в рост человека. Туда редко кто заглядывал. Зато пустым не вернешься.

Поблизости весь курай давно собран. Вот и пришлось снарядиться в Туюк-Джар. Пообещал Султанмурат матери, что топливом обеспечит, перед тем как уезжать на Аксай.

Вначале Султанмурат шел озабоченный разными мыслями и не очень-то откликался на разговоры словоохотливого брата. Было о чем думать. Приближалось время выхода пахарей на Аксай. Оставались считанные дни. Перед выездом всегда обнаруживается, как много еще не сделано. Особенно по мелочам. А ведь там, на Аксае, и гвоздя не найдешь, если вдруг потребуется. Хорошо, что председатель Тыналиев заглянул накоротке к ним домой. Проведать приехал, как здоровье матери, как дела у командира десанта. Да и сам рассказал кое-что. Рассказал, как будет с жильем на пашне — решили поставить юрту, — как с подвозом кормов и питанием, а главное, хорошо, что поговорил с матерью. Мать в последнее время стала нервной от болезни, оттого, что нет писем от отца. Ну и заспорила с председателем. Говорит: куда вы шлете этих детишек? Сгинут они там, в степи. Не пуцу, говорит, сына. Сама больна. Дети малы. От мужа никаких известий. Сена нет, топлива нет в доме. А председатель говорит: сеном поможем самую малость, больше никак нельзя — весновспашка на носу. Насчет топлива ничего не обещал даже. Побледнел даже, будто скрутило его изнутри, и говорит: а насчет детишек в степи, это вы напрасно. И в расчет не возьму ваши слова, хотя в душе понимаю. Это, мол, фронтное задание такое. А раз так — хочешь или не хочешь, не имеет значения. Требуется выполнять. И никаких отговорок. Вот если бы ваши мужья перед атакой начали бы плакать по дому: того нет, этого нет, не топлено, не кормлено, куда, мол, нам в атаку! Что бы это было? Кто кому может позволить на войне такое? А для нас Аксай — это наша атака. И идем мы в ту атаку с последними нашими силами — с ребятами школьных лет. Других людей нет.

Вот такой разговор состоялся. И мать жалко и председателя Тыналиева, его тоже надо понять, не от хорошей жизни задумал такое дело. Просил он Султанмурата побыстрее выходить на

работу. Время, говорит, в самый край. Как только матери чуть полегчает, так, мол, не задерживайся ни минуты, скорей берись за дела...

Со вчерашнего дня мать немного лучше почувствовала себя, по дому начала кое-что делать. Можно было уже вернуться к ребятам на конюшню. Однако хоть из-под земли, но требовалось добыть топливо. Нельзя оставлять семью без огня, без тепла...

День стоял предвесенний. Теплый полуденный час. Ни зима, ни весна. Равновесие сил. Безмятежность. Чисто, умиротворенно, просторно вокруг. Кое-где уже темнели широкие рваные прогалины среди осевших, ослабевших снегов. В прозрачном воздухе ослепительно белели громады снеговых гор вдаль. Какая большая земля лежала вокруг и как много забот было на ней человеку!

вернуться

14

Ашыктык кат — любовное письмо.

Султанмурат приостановился. Попытался разглядеть Аксайское урочище там, на западе, на степном скате предгорий Великого Манасового хребта. Но ничего не разглядел в той дали, называемой аксайской стороной. Только пространство и свет... Вот туда предстояло отправляться днями. Как-то там будет? Что ждет их в том краю? Тревожный холодок пробежал по спине.

Но день был чудесный. Аджимурат, тот совсем ошалел от радости, от вольного дня, оттого, что брат рядом и собака преданно бегаёт возле, что в целом мире они сами по себе, что едут добывать топливо домой. Сам же на ишаке. Голосок тонкий, песни поет разные, еще довоенные:

Бер команда, маршалдар (Дайте команду, маршалы),
Калбай тегиз чыгабыз (Все, как один, выступим).
Мин-миллион жоо келсе да (Пусть идет тысяча миллионов врагов),
Баарын тегиз жагабыз (Всех до единого уничтожим).

Эх глупыш! Дитя несмышленное...

Но Аджимурату дела нет ни до чего. Он самозабвенно продолжал свое:
Бир-эки, да, бир-эки (Раз и два, раз и два),
Катаранды тюздеп бас (Держи ровнее строй)...

Султанмурат тоже повеселел. Смешно было смотреть на этого хабреца верхом на ишаке. А когда проезжали мимо прошлогоднего гумна, поутихли невольно. В этом укромном месте, среди полуразвалившихся скирд соломы уже повеяло весной. Тишина полевая. Как отмолотились в прошлом году, так все и утихло здесь. Пахло мокрой соломой, прелью и духом угасшего лета. Валялось в арыке поломанное колесо без обода. И пока сохранялся большой шалаш, крытый обмолоченными снопами. В нем отдыхали от зноя молотильщики. На припеке, посреди тока, где оставалось отвейное охвостье, уже зазеленели густо проросшие стебельки опавших зерен.

Актош засновал, бегал взад-вперед, вынюхивая что-то по гумну, и вспугнул диких голубей. Они

выпорхнули из-под нависающей кручи обледеневшей соломы. Здесь кормились всю зиму в затишке. Шумно, весело закружили они над полем, держась плотной стайкой. Актош беззлобно потявкал, побегал вслед и потрусил дальше. Аджимурат тоже покричал, попугал и быстро забыл о них. А Султанмурат долго следил за птицами, любовался их гибким стремительным полетом, их переливающимся на солнце перламутровым блеском перьев и, заметив, как отделилась от стаи пара сизарей и полетела в сторону бок о бок, вспомнил молодого учителя математики, ушедшего в армию:

Я сизый голубь, летящий в синем небе,
А ты голубка, летящая крыло в крыло.
Нет счастья большего на белом свете.
Чем неразлучно вместе быть с любимой...

Захмелел учитель у бозокера [15], когда его провожали, и, уезжая на бричке из аила, долго, пока было слышно, пел о том, что он сизый голубь, летящий в синем небе, а она — голубка, летящая крыло в крыло... Тогда смешной показалась Султанмурату эта песенка, и учитель грозный вдруг оказался таким смешным. А сейчас, провожая взглядом удаляющуюся пару диких голубей, замер, почувствовав озноб в теле. И понял мальчишка, что то он сам, вон тот летящий в синем небе голубь, а то она, летящая с ним бок о бок, крыло в крыло, и дух захватило от желания быть немедленно рядом с ней, с Мырзагуль, чтобы лететь вот так, как эти голуби, выводящие над зимним полем широкий наклонный круг. Вспомнил о письме для нее и решил, что слова песни про голубей «Аккептер» тоже должны быть в письме... Все дело теперь заключалось в том, как ей его вручить. Он понимал, что при ребятах она никогда не возьмет от него письма. Ведь даже на переменах она избегала его. А теперь и в школу он не ходит. Домой к ней не пойдешь, семья строгая... Да и как, даже если прийти, что сказать, как объяснить? Почему, спрашивается, надо вручать письмо, живя в одном аиле?

Но чем больше он думал, тем сильнее хотелось, чтобы она знала о том, как он думает о ней. Очень важно, чрезвычайно важно, неодолимо важно было, чтобы она знала об этом.

Всю дорогу думал он то о ней, то о предстоящем выезде на Аксай, то об отце на фронте и не заметил, как добрались до балки Туюк-Джар. Кто-то уже здесь побывал, похозяйничал. Но и того курая, который оставался в овраге по обочинам замерзшего ручья да среди колючей поросли облепихи, и того было предостаточно. Приходилось беспокоиться не о том, как взять курай, а как увезти. Недолго думая, принялись за дело. Ишака Черногривого отпустили попасться по прошлогодним травам, пробившимся из-под снега. Актош не требовал заботы, он сам по себе шнырял по балке, вынюхивая что-то. Братья работали споро. Серпами сжинали сухостой, складывали срезанные стебли в кучу, чтобы потом собрать все это в вязанки. Работали молча.

Вскоре стало жарко, разделись — сбросили овчинные кожушки. Хорошо жать курай серпом, когда он стоит густо и когда он твердостеблистый. Вокруг аила такого не найти. Где там! А здесь одно удовольствие, выжинаешь пучками под самый корень. Курай шуршит и позванивает в коробочках, в стручках сухими семенами, густо осыпает снег. И снова остро пахнет горькой пыльцой, как будто летом, как будто в августе. Спину разогнуть трудно. Но курай здесь отменный, жар от него будет сильный. Мать, сестренки останутся довольны. Когда в доме хорошо горит печь, и настроение хорошее...

Они уже сделали немало, собирались было передохнуть, когда вдруг отчаянно и дико залаял Актош. Султанмурат поднял голову и закричал, роняя серп:

— Аджимурат, смотри, лисица!

Впереди по балке, по отвердевшему за зиму насту бежала от собаки вспугнутая лисица, оглядываясь и приостанавливаясь на бегу. Лиса бежала свободно, легко, как бы скользя по снегу. Она была довольно крупная, с черными торчком ушами и дымчато-красной спиной и таким же дымчато-красным длинным хвостом. Актош яростно и беспорядочно преследовал ее, но чем больше он рвался к добыче, тем больше проваливался в снегу.

— Лови ее! Держи! — завопил Аджимурат, и они бросились навстречу, размахивая серпами.

Увидев бегущих навстречу людей, лисица круто повернула назад, забежала за колючий кустарник и, когда Актош проскочил мимо по ее прежнему следу, побежала в обратную сторону. Конечно, лиса запросто обвела бы своих преследователей и ушла, но беда ее была в том, что она очутилась в изголовье балки как в мешке, здесь овраг кончался крутыми, обрывистыми, непреодолимыми стенами. Казалось, деваться ей было некуда. Не будь этой шумливой, неугомонной собаки, затаилась бы лиса в зарослях облепихи, попробуй достань ее из сплошных колючек, но собака хоть и дурная, хоть и дворняга, однако оказалась выносливой и настырной. Лай ее не смолкал ни на минуту, и именно лай собачий страшил лису.

А братья, захваченные внезапным событием, бежали за ней сломя голову, потные и разгоряченные, оглушенные собственными криками и азартом преследования. Оставалось лисице или сдаваться на милость собаки, или прорываться мимо людей к выходу из оврага.

И лисица огляделась и, вместо того чтобы убежать от людей, пошла к ним навстречу лоб в лоб. Ребята остановились от неожиданности. Лисица почти не торопясь приближалась по гребню снежного вала на дне балки, точно рассчитав возможности идущего по следу и задыхающегося, то и дело проваливающегося в сугробах Актоша. Бедный Актош совсем одурел от лая и бега. Он уже не замечал, как хитро повела его лиса по глубокому насту.

Да и братья оказались не более сообразительными. Оба остановились, замороженные подбегающим чудом, — настолько красива была лиса на бегу, как лодка, стремительно пущенная по течению. Лисица шла точно между ними, как бы стараясь пройти посередке, чтобы никому не было обидно. Но затем она взяла чуть левее и проскочила со стороны Султанмурата, в двух-трех шагах от него. За это короткое мгновение он разглядел ее всю как во сне, веря и не веря тому, что видит. Пробегая мимо с напряженно вытянутой головой, лиса посмотрела ему в лицо черными блестящими глазами. Султанмурат успел подивиться этому мудрому звериному взгляду. Такой она и осталась в его памяти — с поднятой головой и так же ровно поднятым пушистым хвостом, с белесым подбрюхом, черными быстрыми лапами и умным, все оценивающим взглядом... Она знала, что Султанмурат не тронет ее.

вернуться

15

Бозокер — человек, изготавливающий хмельной напиток — бузу..

Он опомнился, когда Аджимурат, швырнув серпом в лисицу, завизжал:

— Бей ее! Бей!

Султанмурат же не успел сделать даже этого, как лисица юркнула в курай, за ней помчался Актош, и они быстро удалились вниз по балке.

— Вот это да! — вырвалось у Султанмурата.

Братья побежали, потом остановились. Лисы и след простыл. Только Актош влаивал то там, то тут.

— Эх ты, — сказал потом Аджимурат. — Упустил такую лису. Стоишь, даже рукой не шевельнешь.

Султанмурат не знал, что и ответить. Брат был прав.

— А зачем она тебе? — пробормотал он.

— Как зачем? — И, не объяснив, что хотел сказать, махнул рукой.

Потом они молча собирали накошенный хворост в общую кучу. Надо было еще немного накосить, чтобы сделать вязанки побольше. И тут Аджимурат заговорил обиженно:

— Зачем, зачем, говоришь! Отцу сшили бы лисью шапку, как у дяди Нургазы, а ты стоял!

Султанмурат опешил: значит, вот о чем он думал, гоняясь за лисицей. И теперь пожалел, что не удалось поймать такую красивую лисицу, и представил себе отца в пушистом теплом малахае, как у дяди Нургазы. Такая шапка очень пошла бы отцу. Мысли Султанмурата прервались всхлипываниями Аджимурата. Братишка сидел на куче хвороста и горько плакал.

— Ты что? Что с тобой? — подошел к нему Султанмурат.

— Ничего, — ответил тот сквозь слезы.

Султанмурат не стал особенно допытываться. Он сразу догадался, вспомнив, как недавно плакал Аджимурат, когда приезжал дядя Нургазы. Понял он, что мальчик расплакался с тоски по отцу. Лисица и лисий малахай были лишь напоминанием...

Не знал Султанмурат, как помочь братишке. Он и сам загрустил. Проникаясь жалостью и состраданием к брату, он решил поделиться с ним самым сокровенным.

— Ты не плачь, Аджике, — сказал он, присаживаясь возле. — Не плачь. Понимаешь, я хочу жениться, когда вернется отец.

Аджимурат перестал плакать, удивленно уставился:

— Жениться?

— Да. Если ты мне поможешь в одном деле.

— Какое дело? — сразу заинтересовался Аджимурат.

— Только ты никому ни слова!

— Никому! Никому не скажу!

Теперь Султанмурат заколебался. Говорить или не говорить? Он молчал в растерянности, Аджимурат начал приставать:

— Ну скажи, какое дело, скажи, Султан. Честное слово, никому ни слова.

Султанмурат покрылся испариной и, не глядя в лицо брату, с трудом проговорил:

— Надо передать письмо одной девушке. В школе.

— А где письмо, какое письмо? — живо придвинулся к брату Аджимурат.

— Потом я тебе покажу. Не здесь же письмо.

— А где?

— Где надо. Потом увидишь.

— А кому, какой девушке?

— Ты ее знаешь. Потом скажу.

— Так скажи сразу!

— Нет, потом.

Аджимурат приставал. Он становился невыносимым. Тяжело вздохнув, Султанмурат вынужденно сказал, запинаясь:

— Письмо надо... это... передать Мырзагуль.

— Какой Мырзагуль? Той, что в вашем классе?

— Да.

— Ура! — заорал то ли от радости, то ли от озорства младший брат. — Я ее знаю, она такая, воображает, что очень красивая! С младшими классами не разговаривает.

— А ты что кричишь? — рассердился старший.

— Ладно, ладно! Не буду! Ты ее любишь, да? Как Айчурек и Семетей [16], да?

— Перестань! — прикрикнул на него Султанмурат.

— А что? Говорить нельзя? — вредничал младший.

— Ну и кричи, залезь вон на те горы и кричи на весь свет!

— Вот и залезу и буду кричать! Ты любишь эту Мырзагуль! Вот! Вот! Ты любишь...

Нахальство младшего вывело из себя старшего брата. Размахнувшись, Султанмурат дал ему крепкого подзатыльника. Тот скривился сразу и заревел на весь овраг:

— Когда отец на войне, ты меня бить? Ну подожди! Подожди! Ты еще ответишь! — орет во все горло.

Теперь надо было успокоить его. Вот морока! Когда они помирились, Аджимурат говорил, все еще судорожно всхлипывая, все еще размазывая кулаком слезы по лицу:

— Не думай, я никому не скажу, даже маме не скажу. А ты из-за этого драться... А письмо передам. Я тебе сразу хотел сказать, а ты сразу драться... На перемене отдам, отзову в сторону.

А ты за это, когда отец вернется с войны, когда отец приедет на станцию и когда все побегут встречать его, ты меня возьми с собой. Мы вдвоем сядем на Чабдара и первыми поскачем впереди всех. Ты и я. Чабдар ведь теперь твой. Ты впереди, а я сзади на коне, и поскачем. И мы сразу отдадим Чабдара отцу, а сами побежим рядом, а навстречу мама и все люди...

Так говорил он, жалуясь, обижаясь и умоляя, и до того растрогал Султанмурата, что тот сам едва удержался от слез. Погорячился, а теперь очень раскаивался, что ударил мальчишку.

— Ладно, Аджике, ты не плачь. Мы с тобой на Чабдаре поскачем, только бы отец вернулся...

Когда собрали весь скошенный курай и когда начали вязать, получились три хорошие вязанки. Султанмурат мастерски умел увязывать хворост. Вначале куча кажется большая, как гора, даже боязно становится, что не унесешь. А потом, если умеючи стянуть веревки, куча раза в три станет меньше. Хорошо стянутая вязанка плотно и ровно лежит на спине, ее и нести удобней. В этот раз ребята сделали две вязанки для вьюка, на то они привели с собой Черногривого, а одну дополнительную вязанку Султанмурат решил тащить сам. Далековато было нести, но лучше уж сразу притащить домой побольше топлива. Да и оставлять такой курай жалко. Отменного хвороста набрали они в балке Туюк-Джар.

Черногривого навьючили так, что ни ушей, ни хвоста не видно. Его повел на поводу Аджимурат. Султанмурат шел следом, сгибаясь под вязанкой, притороченной к плечам особым перекрестным способом — веревка пропускается из-под левой подмышки через грудь на правое плечо, захлестывается с правой стороны у затылка на скользящую петлю, конец которой носильщик держит в руках. При таком способе носильщик может постоянно подтягивать на ходу ослабшие узлы вязанки.

Так они шли — впереди Аджимурат, на поводу у него Черногривый, за ним Султанмурат с ношей на спине, замыкал это шествие дворняга Актош, уже порядком уставший и потому плетущийся позади.

Когда несешь курай, очень важно долго не позволять себе отдыхать. После первого привала интервалы переходов сокращаются — второй привал в половину первого перехода третий в половину второго и так далее. Султанмурат хорошо знал это, потому, рассчитывая силы, шел размеренным шагом, широко расставляя ноги. Теперь он ничего не видел вокруг, смотрел только вперед, под ноги. Чтобы долго не уставать и не ждать скорого отдыха, неся вязанку, лучше всего думать о чем-нибудь постороннем.

Шел он и думал, как завтра с утра выйдет на работу на конный двор и снова вступит в свои обязанности командира десанта. Поторапливаться пора. Впереди считанные дни до выхода на Аксай. Лошади вроде бы уже справные, залеченные, плуги и запасные лемеха готовы, сбруя тоже, а все равно двинешься на поле — что-нибудь да обнаружится, это ведь всегда так. Слова бригадира Чекиша. Бригадир Чекиш говорит: глаз — трус, а рука — храбрец, надо смело выходить в поле, а там по ходу дела видно будет как и что, всего не предусмотреть. Может быть, он и прав.

Думал Султанмурат, как сделать, чтобы матери облегчить житье. Совсем замоталась она. И на ферме доит, кормит коров, и дома продоху нет. Все сама да сама. Топи, вари, стирай. Девчушки еще малы. А с Аджимурата тоже какой особо спрос. Сам он теперь уже отрезанный ломоть, вот-вот уедет на Аксай, и кто его знает, когда вернется. Сколько надо вспахать, заборонить... А их всего пять упряжек. А остальное тягло и плуги все на старых землях будут работать. Здесь роботы еще больше, куда больше. Но тут хотя бы поблизости от аила. В случае чего женщины смогут встать за чапыги. Совсем не женское дело. Но теперь они и арыки

копают по пояс глубиной, и воду ведут на поля, и плотины поднимают...

Как быть, как облегчить жизнь матери? Так ничего и не придумал...

Но больше всего думал о том, что завтра передаст письмо, вот только надо дописать слова из песни «Аккептер». Попытался представить себе Мырзагуль читающей его послание, то, что она подумает при этом. Эх, как трудно, оказывается, писать письмо о любви! Получается совсем вообще-то не то, что хотел бы сказать, никакая бумага не уместит в себе то, что на душе. Интересно, а что она скажет? Она тоже должна написать ответное письмо. А как же иначе? Как он узнает, согласна она или не согласна, чтобы он ее любил? Вот ведь задача. А что, если она не захочет, чтобы он ее любил?.. Тогда как?..

вернуться

16

Айчурек и Семетей — герои эпоса «Манас».

Балка Туюк-Джар давно осталась позади. Заходящее солнце светило теперь спереди и сбоку, в одну сторону лица. Земля сохраняла все то же зимнее спокойствие и величие. Обычно так бывает перед бурей — умиротворенность, покой, затишье, чтобы все это в миг столкнуть, сбить, смешать, разнести вдребезги. В таких случаях надо прошептать: «К добру, к спокойствию!» — чтобы упредить злые силы. Иногда помогает. «К добру, к спокойствию!», — сказал про себя Султанмурат, высматривая впереди удобное место для первого привала.

Место приходится выбирать с горочкой, такое, чтобы затем легко встать на ноги. Сначала носильщик курая раскачивается на спине, лежа на вязанке, раскачивается вместе с вязанкой не очень сильно, если больше, чем следует, вязанка перекатится через голову, а носильщик растянется, как лягушка. Раскачавшись, надо упасть на колени, потом с колен встать на ногу, на вторую и затем с заклинанием «о, пирим!» выпрямиться, насколько позволит груз. Зато проще простого отдыхать — надо смело падать навзничь.

Султанмурат упал навзничь на вязанку и на миг зажмурил глаза. Ах, как хорошо было распустить веревки на груди! Он лежал, блаженствуя, прикидывая, где будет следующий привал. Когда он сможет, отдыхая после тяжелого перехода, думать только о ней?

— Только ты быстрее ответь на мое письмо, слышишь? — сказал он беззвучным шепотом, улыбаясь себе. И прислушался.

Огромная, прекрасная тишина покоилась на земле в светлом, незаметно смеркающемся предвечерье.

7

И приближались те дни...

Тревожное, томительное ожидание ответа от Мырзагуль не покидало его весь день, пока не сваливал его к ночи мертвецкий сон... Он думал об этом все время, чем бы ни занимался, что бы ни делал. Работал, выкладываясь, командовал своим десантом, а в мыслях только и ждал, когда наконец прибежит на конюшню Аджимурат из школы, когда принесет долгожданный ответ. У них с Аджимуратом были даже свои условные сигналы. Если Мырзагуль дала ответ, то

Аджимурат должен бежать вприпрыжку, размахивая руками, прыг-скок, если нет, то не бежать, а идти и чтобы руки были в карманах.

Султанмурат все время поглядывал в ту сторону. Но что ни день, братишка приходил, держа руки в карманах. Огорчался, недоумевал Султанмурат. Терпение иссякало. Допытывался, спрашивал и переспрашивал Аджимурата, что она ему сказала при встрече, как он к ней подошел и какой при этом состоялся разговор. Придя домой, заставал брата уже давно спящим. А хотелось выпросить еще какие-то подробности. Но выпрашивать-то особенно было нечего. По словам Аджимурата, эта несносная Мырзагуль-бийкеч вовсе ни о чем не говорила с ним на переменах, а делала вид, что ничего не знает, ничего не помнит. Вроде бы никакого письма она не получала. Стоит себе на переменах, разговаривает с подругами, а его, Аджимурата, не замечает, пока сам не подойдет, не потянет за руку.

Не понимал Султанмурат, что бы это значило. Если Мырзагуль не желает иметь с ним ничего общего, почему не ответит, почему не скажет об этом прямо? Почему молчит, неужели не догадывается она, как мучительно, как тяжело ждать ответа?

С этими мыслями он засыпал, а утром, начиная день, снова думал об этом. И уже времени не оставалось ждать. Снега вокруг быстро шли на убыль. Вот-вот отойдет мерзлота и задышит земля, вот-вот проляжет первая борозда на поле, а там поспевай только...

Однажды Султанмурат сказал брату:

— Скажи ей, что скоро я уеду в Аксай, надолго уеду...

Ответ вернулся односложный...

— «Знаю», — передала она, и больше ничего.

Терялся он в догадках. Иной раз хотелось побежать в школу, дожидаться перемены, увидеть ее и узнать самому, что все это значит. Но не решался. Все, что прежде казалось проще простого, теперь стало почти непреодолимым. Страх, робость, стыдливость и сомнение, как переменчивая погода в горах, сотрясали его душу...

Да и работу не бросишь. Работы невпроворот. Быть командиром десанта оказалось не очень-то легко. Все так же с утра и до вечера работа, работа, и чем ближе подходил срок выхода на Аксай, тем больше всяких забот наваливалось.

Наступающая весна, однако, не только умножила заботы, но и украшала, обновляла, будоражила их жизнь. По-весеннему стало на водопое, веселей, просторней. Лед исчез как дым. Речка открылась и весело бежала, кувыркалась по каменистому перекату. Каждая галька на дне переливалась светом и тенью в быстро текущем зеленоватом потоке. Лошади шумно вбегали теперь табуном на середину речки, поднимая тучи брызг из-под копыт. И ребята верхами туда же, в ту кучу. Смех, вскрики от холодных брызг, наскоки...

Именно в такой момент, на водопое, увидел ее Султанмурат. На переступках через речку увидел и обмер. Отчего бы, казалось, обмер? Мырзагуль была не одна. Четверо было их, девушек. Они возвращались из школы. Он мог бы их и не увидеть. Мало ли людей ходит по той дороге, перепрыгивая по переступкам через речку. Но вот же посчастливилось! Глянул случайно и обмер, придерживая Чабдара на месте, сразу узнал ее. Она шла по переступкам и тоже узнала его, покачнулась на переходе, балансируя руками, и, выйдя на берег, приостановилась, еще раз бросила взгляд в его сторону. И, уходя с подругами, несколько раз оглядывалась. Каждый раз, когда она оборачивалась в его сторону, он готов был поскакать,

полететь за ней, чтобы сразу, не таясь, не робея, сказать ей, как он любит ее. И что без нее жизнь не может быть жизнью. И каждый раз не хватало духу, каждый раз, когда она оборачивалась в его сторону, он умирал и воскресал. Она уже скрылась с подругами в начале Аральской улицы, а он все удерживал Чабдара посреди речки, и уже кони напились и вышли на берег. Ребята их сгоняли в кучу, чтобы двинуться на конный двор, а он оставался на месте, делая вид, что все еще поит Чабдара...

А после думал об этом и удивлялся, ругал себя, что не догадывался раньше повидать ее, встретить на этом пути, когда она идет из школы. Да, там, на переступках через речку, всегда можно столкнуться как бы невзначай. Как же раньше не приходило это в голову? Конечно же, надо самому действовать, встретить ее и узнать от нее самой, что она думает о его письме.

Он понял потом, что встречи такие могли быть каждый божий день, если бы их десант пригонял лошадей на водопой чуть попозже обычного. Очень досадно было Султанмурату сознавать, что всякий раз после того, как они угоняли лошадей с водопоя, появлялась на том же месте Мырзагуль, а он не мог сообразить такого пустякового дела. Страдает, мучается, когда все так просто...

Теперь он решил дожждаться ее. На другой день Султанмурат задержался на речке, сказал ребятам, что скоро вернется, сделает хорошую пробежку Чабдару, а ребят попросил приглядеть пока за его лошадьми после водопоя: привязать их на место, задать им корм.

И опять Анатай!

Он не торопился возвращаться с водопоя и других задерживал.

— А я знаю, кого ты ждешь, — сказал он вызывающе.

Ох и противный тип!

Но и Султанмурат тоже хорош. Нет чтобы спокойно урезонить: «Знаешь, ну и хорошо. Ты не ошибаешься», так он вместо этого обозвал Анатая:

— А ты шпион фашистский!

— Это кто шпион? Я шпион?

— Ты шпион!

— А ну докажи! Если я шпион, пусть меня расстреляет трибунал! А нет, я тебе морду набью!

И они сшиблись, понукая коней навстречу друг другу и тесня друг друга, закружились посреди речки. Угрожающе орали, метали свирепые взгляды, стягивали друг друга с коней. Ребята на берегу смеялись, потешались, подзадоривали, а они, как петухи, не на шутку разошлись. Вода кипела вокруг, разлеталась брызгами, спотыкались кони в воде, скрежеща подковами по камням, и тогда Эркинбек крикнул:

— Эй вы, опять лошадей покалечить хотите!

Сразу одумались, обрадовались даже, что нашлась веская причина, и разошлись без лишних слов.

Но все равно настроение было испорчено. Когда ребята угнали лошадей на конюшню,

Султанмурат все еще тяжело дышал и, чтобы как-то унять себя, поехал рысцой вдоль речки, все время посматривая на дорогу. Далеко не уехал, повернул назад и тут увидел ее. Как и вчера, Мырзагуль возвращалась с подружками. Шли они, занятые своими разговорами, и дела им не было, что кто-то тут чуть было не подрался сейчас за одну из них, что кто-то страдает, изводится в кручине по одной из них. Мать перепугалась недавно за сына: «Что с тобой? Уж не болен ли ты? С лица сошел как!» Успокоил маму, а сам взял зеркало, давно не смотрелся, все некогда, и увидел, что действительно здорово изменился, оказывается, за последнее время. Глаза блестят, как у больного, лицо вытянулось, шея сделалась длинной, вроде бы даже две морщинки, две складочки залегли между бровями, а на верхней губе темный пушок появился. Если на свет рассматривать, а так не видно. Вот это да! Совсем другой стал, не узнать... Отец, пожалуй, и не сразу признает, когда вернется...

Он подъезжал на коне сбоку и, приближаясь, заметил, как Мырзагуль глянула раза два в сторону водооя, точно бы высматривала кого-то. А когда увидела его, вздрогнула от неожиданности, приостановилась, но потом быстро пошла вместе с подружками. Они как ни в чем не бывало перескочили с переступки на переступку через речку и пошли по домам. А он обогнал их стороной, точно бы спешил куда-то по делу, выехал огородами на улицу, чтобы попасть ей навстречу. Он увидел ее в другом конце улицы. Здесь он поехал медленно. И чем ближе сходились они, тем страшней становилось. Ему казалось, что вся улица смотрит в окна, в двери, следит за ними, и все ждуть, как они встретятся и что он скажет ей.

А она шла навстречу не очень быстро. Не понимал он, что произошло, почему он так волнуется. Ведь учились вместе, в одном классе, ничего не стоило отобрать у нее что-то и даже обидеть, а теперь приближался с трепетом и робостью в душе. Ему даже захотелось избежать этой встречи, но было уже поздно. И, наверное, она каким-то образом почувствовала его состояние. Когда оставалось совсем немного, она вдруг заспешила и, не дойдя до своего дома, свернула во двор к соседям. Он обрадовался, облегченно вздохнул. И был очень благодарен ей. Как страшно, оказывается, встречаться один на один...

А потом корил себя и ругал за малодушие. Плохо спал ночью и, проснувшись на рассвете, думал о ней, дал себе слово, что сегодня во что бы то ни стало подойдет к ней, и запросто заговорит, и спросит совершенно серьезно, намерена ли она отвечать на его письмо и когда. Если нет, то никакой обиды, днями ему уезжать на Аксай, и пусть все это останется между ними. Так и скажет.

С этим твердым решением начинал он тот день, с этим намерением работал, с этим намерением еще раз отправился на речку после водооя. Ехал на Чабдаре. Проехался берегом в ту и другую сторону. При этом невольно обратил внимание, что в самом аиле на крышах и с теневой стороны снега совсем не осталось, а на буграх, там, где изрядно намело за зиму, снег еще держался сжимающимися темно-серыми пятнами. Как амебы, каких рисовали они когда-то в тетрадах на уроках зоологии.

Вчера же на конном дворе председатель Тыналиев и бригадир Чекиш устроили смотр аксайскому десанту. Все плуги были пронумерованы и закреплены за плугарями. Султанмурату достался плуг номер один. Затем каждый обрядил своих лошадей в сбруи, показал, как он с этим справляется, а потом показал, как он запрягает свою четверку в плуг. И тогда все пять упряжек выстроились в ряд. В общем-то, со стороны смотреть, здорово, внушительно получалось! Как тачанки, только вместо тачанок плуги. Лошади сильные, сбруи подогнанные, плуги блестят от смазки. Плугари подтянутые, каждый возле своей упряжи. Председатель Тыналиев ходил перед десантом суровый, как командующий армией. К каждому подходил:

— Доложи свою готовность!

— Докладываю. Имею в наличии четыре подкованных коня, четыре исправных хомута, четыре шлеи, восемь постромок, одно седло, один кнут, один двухлемешный плуг с тремя парами запасных лемехов.

Прямо как в армии! Только бригадир Чекиш хмурился. Ну конечно, он старик, где ему понять!

Смотр прошел хорошо. Но по двум пунктам все же завалились десантники. Председатель Тыналиев подозвал всех к упряжи Эргеша.

— Ну-ка обнаружьте неполадку в сбруе, — предложил он.

Все пересмотрели, все перещупали, но ничего такого найти не сумели. Тогда председатель Тыналиев сам показал:

— А это что? Вы разве не видите, что ремень у гнедого коренника на боку перекручен. Вот, смотрите! А в работе перекрученный ремень будет натирать бок коню. Лошадь сказать об этом не может. Будет тянуть, а на другой день бок вспухнет, коня уже не запряжешь. А где я вам найду запасного коня? Их у меня нет! Значит, плуг будет простаивать из-за халатного отношения к сбруе! Ну-ка подумайте, имеем мы право допустить такое? Ради чего мы готовились всю зиму?..

Стыдно было всем. Такой пустяк, казалось бы, и надо же!

— Султанмурат, — наставлял председатель Тыналиев, — ты как командир десанта обязан каждый раз перед началом работы проверять, кто как запряг лошадей. Ясно?

— Ясно, товарищ председатель!

Второй пункт, по которому погорел десант, оказался более серьезным. Причем погорел сам командир. Председатель Тыналиев спросил их:

— Ответьте мне, где будете оставлять сбрую на ночь после работы?

Думали, гадали, отвечали по-разному. Решили, что в поле, возле плугов.

— А ты как думаешь, командир?

— Я тоже так думаю. На полосе, где распряжем, там и оставим сбрую, возле плугов. Не носить же ее с собой!

— Нет, неверно. Сбрую нельзя оставлять на ночь в поле. Не потому, что ее кто-то возьмет. На Аксае некому ее взять. А потому, что ночью может пойти дождь или снег. Сбруя намокнет. Это сыромятная кожа. И могут лиса или сурок погрызть сбрую в поле. Ясно, о чем идет речь? Значит, что из этого следует? Плуг остается на поле. Выпряженных лошадей со сбруей приводите на стан. У вас юрта, в которой вы будете жить. Юрта только одна. Другой юрты у меня нет. Сбрую каждый вносит в юрту и складывает аккуратно на то место, где он будет спать. Ясно? Спать со сбруей в изголовье! Таков закон! Это ваше оружие! А каждый солдат прежде всего бережет оружие!

Вот так говорил председатель Тыналиев в тот день перед аксайским отрядом, выстроенным для смотра в полной боевой готовности.

Вот так говорил председатель Тыналиев накануне выхода десанта на Аксай. Те дни приближались. И все шло к тому...

Вот так говорил председатель Тыналиев, наставлял их уму-разуму...

Вот так...

Да, вполне могло случиться, что дня через три-четыре, если погода не испортится, двинутся они на Аксай, и тогда, конечно, не увидятся с Мырзагуль до самого лета. Подумав об этом, Султанмурат испугался. Трудно, невозможно было представить себе такое — не видеть ее, пусть хоть издали, столько времени! А еще собрался заявить ей сегодня, что, мол, да или нет, если нет, так что ж, не такая уж беда, ждать некогда, на Аксае дела поважнее...

Султанмурат все поглядывал на дорогу, проезжая берегом. И уже начал беспокоиться. Время уже выходило. Но вот они, девушки! Однако Мырзагуль среди них не оказалось. Подружки ее шли, а ее нет. Вначале Султанмурат огорчился. Что ж оставалось, раз такое дело. Расстроенный поехал на конный двор. Но дорогой его охватила тревога: а вдруг она заболела или еще что-нибудь случилось. Эта тревога возрастала, он почувствовал, что ни в коем случае не может унять ее, пока не узнает причины. Решил спросить у девушек. Повернул Чабдара вслед за ними. И тут увидел ее. Мырзагуль возвращалась одна. Она уже приближалась к переступкам на речке. Султанмурат припустил слегка Чабдара, чтобы поспеть встретиться на переступках, а сам до того обрадовался, так сильно, оказывается, испугался за эти минуты, что сам не заметил, как сорвалось с уст: «Родная моя!»

Он встретил ее на переступках. Спрыгнул с коня и, держа его на поводу, ждал, когда она выйдет на берег к нему.

Она шла к нему, глядя на него, улыбаясь ему.

— Смотри не упади! — крикнул он ей, хотя упасть с таких широких, выложенных поверху дерном переступок было невозможно. Как хорошо, что она шла по переступкам! Как хорошо, что на этой капризной горной речке не удерживались никакие мосты и мостики!

Он ждал, протянув ей руку, а она шла к нему, все время глядя на него и улыбаясь.

— Смотри не упади! — сказал он еще раз.

А она ничего не отвечала. Она только улыбалась ему. И тем было сказано все, что хотел бы он знать. Какой же он был чудак, писал какие-то письма, терзался, ждал ответа...

Она протянула ему руку, и он взял ее. Столько лет учась в одном классе, не знал он, оказывается, какая чуткая и понятливая у нее рука. «Вот я здесь! — сказала рука. — Я так рада! Разве ты не чувствуешь, как я рада?» И тут он посмотрел ей в лицо. И поразился — в ней он узнал себя! Как и он, она стала совсем другой за это время, выросла, вытянулась, и глаза светились странным, рассеянным блеском, как после болезни. Она стала похожа на него, потому что она тоже постоянно думала, не спала ночами, потому что она тоже любила и эта любовь сделала ее похожей на него. И от этого она стала еще красивее и еще родней. Вся она была обещанием счастья. Все это он познал и почувствовал в одно мгновение.

— А я думал, ты заболела, — сказал он ей дрогнувшим голосом.

Мырзагуль ничего не ответила на эти слова, а сказала другое:

— Вот. — Она достала предназначенный ему сверточек. — Это тебе! — И не задерживаясь пошла дальше.

Сколько раз потом вновь и вновь рассматривал он этот вышитый шелком платочек! Доставал из кармана, и снова прятал, и снова рассматривал. Величиной с тетрадный лист, платочек был ярко расшит по краям узорами, цветами, листиками, а в одном углу были обозначены красными нитками две большие и одна маленькая буквы среди узоров: «S.c.M.», что означало «Султанмурат джана Мырзагуль» — «Султанмурат и Мырзагуль». Эти латинские буквы, которые они изучали в школе еще до реформы киргизского алфавита, и были ответом на его многословное письмо и стихи.

Султанмурат вернулся на конный двор, едва сдерживая торжествующую радость. Он понимал, что это такое счастье, которым невозможно поделиться с другими, что оно предназначено только ему и что никто другой не сможет быть так счастлив, как он. И, однако, очень хотелось рассказать ребятам о сегодняшней встрече, показать им подаренный ему платочек...

Работалось как никогда хорошо. Ребята чистили лошадей после водопоя, носили в ведрах овес, закладывали в кормушки сено. Он сразу включился в дело. Быстро прошелся скребком по упругим, налитым силой спинам и бокам своих коней, побежал за овсом. И все время чувствовал платочек в нагрудном кармане перешитой солдатской гимнастерки. Будто там горел незримый огонек. И от этого ему было радостно и тревожно. Радостно оттого, что откликнулась Мырзагуль на его любовь, и тревожно, потому что было началом неведомого...

Потом он побежал за сеном к люцерновой скирде за конюшней. Здесь было тихо, солнечно, сильно пахло сухими травами. Ему очень захотелось еще раз посмотреть на свой платочек. Достал из кармана и стал разглядывать его, улавливая среди травяных запахов особый запах платочка, вроде бы хорошим мылом пахло. Однажды в школе он почувствовал, как пахнут ее волосы. И теперь вспомнил, это был ее запах. Так он стоял наедине с платочком, и вдруг кто-то выхватил его. Оглянулся — Анатай!

— А-а, ты уже платочки получаешь от нее!

Султанмурат густо покраснел:

— Дай сюда!

— А ты не спеши. Сперва погляжу.

— А я тебе говорю, дай сюда!

— Да не кричи ты, отдам. Нужен очень!

— Отдай немедленно!

— А ты посильней кричи! Кричи, что у тебя дареный платочек отобрали! — И сунул его в карман.

Что произошло дальше, Султанмурат уже не помнил. Только мелькнуло перед ним искаженное злобой и испугом лицо Анатая, затем он со всей силы нанес еще удар, а потом отлетел в сторону от резкого толчка в живот. Перегнулся, падая, но тут же вскочил на ноги и рванулся из-за скирды к подлому Анатаю с еще большей ненавистью и яростью. Прибежали ребята. Заметались. Втроем стали разнимать их. Просили, умоляли, повисали у них на руках, но те снова и снова кидались друг на друга, сшибаясь в жаркой, безжалостной драке. «Отдай!

Отдай!» — только одно твердил Султанмурат, понимая, что исход может быть лишь один: или умереть, или вернуть платочек. Анатай был кряжистый, сильный, действовал он хладнокровно, но на стороне Султанмурата были справедливость и право. И он безоглядно нападал, хотя часто оказывался сбитым с ног. В последний раз он упал на вилы, валявшиеся подле скирды. И тут руки сами схватились за них. Он вскочил с вилами наперевес. Ребята закричали, отбегая по сторонам:

— Стой!

— Остановись!

— Опомнись!

Анатай стоял перед ним, тяжело дыша, пригнувшись, озираясь, куда бы отскочить, но бежать ему было некуда. С одной стороны скирда, с другой — стена конюшни. Именно в эти минуты Султанмурат обрел твердость духа. Он понимал, что это крайность, но другого выхода не было.

— Отдай, — сказал он Анатаю, — иначе будет плохо!

— Да на! На! — заторопился Анатай, пытаясь обратить все в шутку. — Тоже мне! Пошутить нельзя! Дурак. — И он кинул ему платочек.

Султанмурат положил его в нагрудный карман. Страшная минута миновала. Ребята облегченно вздохнули, загалдели, и только тогда почувствовал Султанмурат, как кружится голова, как трясутся руки и ноги. Сплевывая кровь из разбитой губы, пошел как пьяный за скирду, упал на сено и, лежа на спине, отдышался, пришел в себя...

8

К вечеру они с Анатаем хотя и не помирились, но общие дела заставили их пойти навстречу друг другу. И все же оставался осадок в душе, стыдно было, что все так глупо получилось. Но при этом Султанмурат понимал, что прошел важное испытание, что, прояви он малодушие, прежде всего сам перестал бы уважать себя. А такой человек не может и не должен быть командиром десанта.

В этом он убедился в тот же день, когда под вечер приехали на конный двор председатель Тыналиев и бригадир Чекиш. Лошади их пришли с дальнего пути усталые, заляпанные грязью. Тыналиев и старик Чекиш с рассветом уехали в Аксайское урочище и вот только вернулись. Довольные приехали. Дня через два можно двинуться на Аксай. Степь задышала. Земли удобной много. Паши сколько сможешь. Загоны определили. Место полевого стана выбрали. Осталось обосноваться там и начать то, ради чего готовились всю зиму.

— Ну как, ребята? — обратился к ним Тыналиев. — Как настроение? Какие есть предложения, замечания? Высказывайте, чтобы потом не спохватиться, когда уже будете далеко от аила.

Ребята молчали, ничего такого, требующего немедленного решения, вроде бы и не было, и все-таки никто не взял на себя ответственность сказать последнее слово.

— У нас есть командир, — промолвил Эргеш. — Он все знает, пусть сам скажет.

И тогда Султанмурат сказал, что пока никаких неполадок или другой нужды нет, все продумано, обувь отремонтирована, одежда залатана, укрываться берут шубы, короче говоря — они, их плуги и кони готовы в любой день приступить к работе, как только земля поспеет.

Потом обсудили разные другие дела — о кашеваре, о топливе, о юрте — и пришли к общему выводу, что дня через два-три, если погода не изменится, если не пойдет снег, пора выходить в поле...

А погода стояла хорошая, хотя и облачная, — солнце то выглянет, то спрячется. Парило, пахло сырой, освобождающейся из-под снега землей...

И приближались те дни... И все шло к тому...

Как ни готовились, а перед самым выездом опять обнаружилась уйма мелких дел. Оказалось, что не хватает двух попон, те, что имелись, были совсем старые, дырявые, их нечего было везти с собой на Аксай. Ночи ранней весной холодные, почти зимние, особенно в первые дни пахоты... Чекиш говорил, что прежде, когда пахали еще сохой, в первые дни, бывало, ждут до полудня, пока оттает земля после ночных заморозков... А продрогший за ночь конь, не покрытый попоной, уже не рабочее тягло.

Пришлось побегать Султанмурату то в контору, то к председателю, то к бригадиру, пока смогли купить для колхоза в аиле еще две добротные попоны...

И в этой беготне и заботах больше всего ждал он времени выезда с конями на водопой. Хотелось повидать Мырзагуль перед отъездом, как в тот раз, у переступок через речку... Каждый раз надеялся — и не удавалось. Спешил Султанмурат, не было времени ждать. И потому он все время ощущал какую-то недоговоренность, недосказанность, остающуюся в их отношениях, и какую-то смутную, тревожную вину свою за то, что они могут не свидеться перед выездом. Он знал, что и Мырзагуль думает о нем, в этом он убедился в тот раз по первому ее взгляду, когда в ней он как бы узнал себя. Однако он не допускал даже мысли, что Мырзагуль сама будет искать встречи с ним. Девичья гордость и честь не могли того позволить. Девушка уже сказала свое слово, она вручила ему вышитый платочек, а все остальное уже его заботы, мужские...

Конечно, он сумел бы встретиться с ней перед отъездом, он так и рассчитывал, если бы не новое несчастье. Накануне выезда на Аксай, когда десантники собрались гнать своих лошадей на прощальный водопой, после которого Султанмурат и хотел дожидаться Мырзагуль, у самых ворот конного двора встретил их бригадир Чекиш. Он был хмур и неприветлив. Рыжая борода вислоколена, шапка надвинута на самые глаза.

— Вы куда?

— Коней поить.

— Пойдите. Вот что, Анатай, ты иди домой. Мать у тебя заболела. Иди, иди сейчас. Слезай с коня. А вы, ребята, быстро на водопой и быстро назад. Чтобы мигом, я вас жду здесь!

И дорогой на речку, погоняя табунок на рысях, смотрел Султанмурат на дорогу и, возвращаясь, оглядывался: нет, не видно Мырзагуль. Не время еще было ей возвращаться из школы. И что это старик Чекиш так заторопил их? Что стряслось? Если бы не это, сегодня обязательно дождался бы ее! Так хотелось снова повидаться на переступках...

Когда они вернулись на конный двор и поставили лошадей по своим местам, старик Чекиш собрал их, четверых, отозвал в сторонку.

— Разговор есть, — буркнул он.

Потом предложил сесть. Все сели на корточки, подпирая спинами стену дувала. Председатель Тыналиев любил разговаривать стоя, сам стоял и чтобы перед ним люди стояли, а бригадир Чекиш наоборот — он предпочитал разговор неторопливый, сидя. Старик, одним словом. Вот они расположились, и тогда Чекиш, сумрачно поглаживая взъерошенную рыжую бороду, начал:

— Хочу я вам сказать, джигиты, вы уже не малые дети. Рано вам пришлось вкусить горечь жизни. По горячему ступать, в холоде спать. Значит, судьба такая выпала. Вот и сегодня у одного из вас большая беда — отец Анатая, Сатаркул, убит на фронте. Вы уже не дети, когда у одного несчастье, другой ему опорой должен служить. Собирайтесь. Будете встречать и провожать людей. Лошадей принимать. Сейчас соберется народ у дома покойного Сатаркула, и вам надлежит там быть. И не хнычьте возле Анатая, как малолетние, если плакать, то плачьте громко, по-мужски, чтобы ясно было, что плачут верные друзья Анатая. Со мной пойдете, с тем я вас и поторопил...

Они шли гуськом по тропинке к дому Анатая на окраине улицы. Такими же небольшими молчаливыми кучками верховой и пеший народ уже стекался с разных сторон.

День стоял переменчивый. То солнце проглянет, то снова облака, то вдруг ветерок северный, низовой потянет пронизывающим голени холодом. С тяжелой, изнывающей от страха и жалости душой шел Султанмурат к дому Анатая. Жутко было, потому что через минуту-другую всплеснется в аиле, как пламя пожара над крышей, еще один великий плач, и еще одного человека, родившегося и выросшего под этими отцовскими горами, не дождутся с войны, никогда и никто его не увидит... «А что с отцом, до сих пор нет ни писем, ни вестей никаких? Что с ним? Мать уже без ума от страха. Только бы не это, только бы не так!»

Они уже приближались ко двору, когда в доме Анатая раздался пронзительный вопль, и этот вопль, умножаясь, выхлестнулся во двор и на улицу, где толпился народ...

Идя следом за Чекишем, десантники громко заплакали, заголосили вместе, как учил их Чекиш:

— О, отец наш Сатаркул, славный отец наш Сатаркул, где мы тебя увидим теперь, где ты сложил свою золотую голову?

В эту минуту, в минуту общего горя, отец Анатая Сатаркул воистину был их родным отцом, и воистину в ту минуту он был славен, потому как величие каждого человека познается близкими лишь тогда, когда они его лишаются... Так было всегда и так будет...

— О, отец наш Сатаркул, славный отец наш Сатаркул, где мы тебя увидим теперь, где ты сложил свою золотую голову?

С этими скорбными словами десантники проследовали за Чекишем через толпу и, войдя во двор, увидели у самых дверей Анатая. Горе умаляет человека. Самый старший из них, грозный и сильный Анатай казался сейчас совсем беззащитным мальцом. Раздавленный свалившимся на его плечи горем, он по-детски, в голос рыдал, приткнувшись к стене, как жеребенок в непогоду. Лицо его вспухло от слез. А рядом громко плакали младшие его братья и сестры.

Друзья подошли к Анатаю. Увидя их, Анатай заплакал еще сильнее, как бы жалуясь им на свое горе, на то несчастье, которое совершалось на глазах у всех. Он просил тем самым защитить его, помочь ему. Эта беззащитность Анатая больше всего потрясла Султанмурата. А они растерянно топтались возле, не зная, как быть, как утешить товарища. Никто, кажется, ничем не мог ему помочь. И никто не подозревал, что Султанмурат только что выскочил со двора с автоматом в руке и побежал с ним прямо туда, прямо в ту сторону, где шла война, без

передыха прямо на фронт, и там, крича от ярости и гнева, плача и крича, расстреливал фашистов очередями, очередями, очередями из неиссякаемого, неумолкающего автомата за убитого отца друга своего Анатая, за причиненные аилу страдания и беды...

Жалко, что не было у него автомата!

И тогда Султанмурат сказал Анатаю (ведь он был командиром десанта):

— Не плачь, Анатай. Что ж делать. Вот у Эркинбека и Кубаткула тоже отцы погибли на фронте. Сам знаешь. От моего отца тоже писем нет давно. Война. Сам понимаешь. Ты только скажи, Анатай, мы тебе поможем. Ты только скажи, что сделать, чтобы тебе стало легче...

Но Анатай, приткнувшись к стене, судорожно вздрагивая плечами, не мог ничего выдать из себя. Эти слова не утешили его, наоборот — горько разбередили, и он стал задыхаться от нахлынувших слез, посинел от удушья. Султанмурат побежал, принес ему в ковше воды.

И с этого момента он почувствовал себя ответственным за то, что тут происходило. Он понял, что надо действовать, как-то помогать людям. Вчетвером они носили воду из речки, кололи дрова, разводили огонь в самоварах, собранных у соседей, встречали и провожали, верховым старикам помогали спешиться...

А народ все шел и шел. Одни приходили высказать соболезнование семье погибшего, другие уходили, выполнив свой долг. А десантники оставались весь день во дворе Анатая.

Самые трудные минуты пережил Султанмурат, когда пришла учительница Инкамал-апай и с ней девочки седьмого класса, и среди них Мырзагуль. Так плакала Инкамал-апай, так убивалась, обняв Анатая, невозможно было смотреть без слез. Предсказания знаменитой гадалки о сыне учительницы не сбывались, да и не верила она им. Вот и плакала в тревожном предчувствии, дала волю слезам, чтобы облегчить изнывающую душу. Девочки тоже плакали возле учительницы своей, а Мырзагуль стояла, опустив голову, плача беззвучно, быть может, тоже вспомнив отца и брата, и ни разу не взглянула в его сторону. Даже в этом, в сострадании и горе, она была красивее всех. Он гордился ею и сочувствовал ей. Хотелось подойти к ней, обнять ее и заплакать, соединить свою печаль с ее печалью...

...Ах, Мырзагуль, ах, Мырзагуль-бийкеч, Я сизый голубь, летящий в синем небе, А ты голубка, летящая крыло в крыло...

И потом, когда зазвучала во дворе молитва и когда все, кто был, умолкнув, остались каждый наедине с собой, раскрыв перед лицом ладони и глядя в них как в книгу судеб, — слушали торжественную и певучую речь молитвы, пришедшей сюда тысячелетие назад из неведомой Аравии, молитвы, возвещавшей вечность мира в рожденьях и смертях и предназначенной в этот раз убитому на войне отцу Анатая Сатаркулу — Султанмурат и тогда, среди молитвы той, подняв глаза над ладонями, посмотрел на нее. Вместе со всеми сосредоточенная, юная Мырзагуль была прекрасна. Глубокая задумчивость покоилась на ее лице. Но она не смотрела на него.

Так она и ушла, не обмолвившись с ним ни словом, лишь грустно задержав на нем взгляд перед уходом и кивнув ему. Ах, Мырзагуль, ах, Мырзагуль-бийкеч...

Плач в доме покойного Сатаркула утихал понемногу. Наступало отрезвляющее жестокое затишье примирения с утратой. Плач — это протест, бунт, несогласие; гораздо страшнее осмысление необратимости случившегося. Вот тогда посещают человека самые мрачные мысли.

Анатай сидел у стены, уронив голову. Страшно было Султанмурату смотреть на него. Дерзкого, сильного, злого Анатая растоптало несчастье. Уж лучше бы он кричал, плакал, уж лучше бы рвал на себе одежду и метался.

Султанмурат не знал, как вызволить его из этого горестного безысходного одиночества. Но надо было помочь ему, надо было во что бы то ни стало заставить его почувствовать, что он не один, что рядом люди, готовые голову положить за него.

— Пошли, Анатай, у меня к тебе отдельный разговор, — сказал ему Султанмурат.

Анатай встал с места, и они отошли за угол.

— Ты не думай, Анатай, — начал Султанмурат, очень волнуясь, с трудом подбирая слова. — Ведь я это самое... Если хочешь, я отдам тебе тот платочек насовсем.

Анатай горестно улыбнулся.

— Что ты, Султан! Не надо, — ответил он. — Он твой, и ты его никому не отдавай. А я... Ты меня прости, что я тогда, ты меня прости, забудь. Я больше никогда так не буду, Султан. Мне уже ничего не надо... Мой отец, он был... Мы так ждали... — И, захлебываясь, давясь слезами, Анатай снова зарыдал.

Теперь они плакали вместе наедине со временем, в котором они жили и росли...

9

Третий день ходили плуги по Аксайскому урочищу. Третий день не умолкая понукали, погоняли плугари своих коней. И выгорбился темно-бурой полосой по увалу свежевспаханный начальный загон аксайских десантников. Задел был уже заметный, глаз радовался. Теперь как погода поведет себя, так и дело пойдет.

В этом огромном предгорном пространстве у подножия Великого Манасового хребта хранилась давно никем не нарушаемая тишина. Отсюда начиналась Аксайская степь, уходящая в чимкентские и ташкентские безводные земли. В этом нетронутом просторе степного изголовья плуговые упряжи казались крохотными жуками, ползущими по горбине, оставляя за собой длинный взрыхленный след.

Пока здесь ходило три плуга. Эргеша и Кубаткула задержали на несколько дней в аиле — бросили на подмогу, на бороньбу озимых, чтобы успеть закрыть влагу в почве. Ясно, нужное, срочное дело, но и на Аксае время не ждет: чтобы успеть засеять такой клин, какой наметили, надо поставить весь десант на лемех с рассвета до заката, иначе не успеть, иначе все труды пропадут. Султанмурат беспокоился, ждал прибытия оставшихся двух упряжек со дня на день. Обещали, из-за этого поругался он с бригадиром Чекишем. Серьезно поругался.

— Передайте, — говорит, — аксакал, пусть председатель Тыналиев приезжает, пусть разберется. Тремя плугами здесь делать нечего. Задачу не выполним...

А старик Чекиш? А что старик Чекиш, он волосы рвал на себе. И понял Султанмурат, как трудно в колхозе умному, понимающему бригадиру. Хочет сделать все с толком, вовремя, по порядку, а везде все горит, хочет успеть сделать по весне то, другое, десятое, а сил нет, людей нет, харчей нет. Голову вытянет — хвост увязнет. Сидел он тут вчера, думу думал. В аиле время голодное. Запасы уже на исходе, до нового урожая далеко. Скот отощал, дохнет от бескормицы, резать нет смысла. Для больного за килограммом мяса едут на базар. Кило мяса

стоит столько, сколько раньше целая туша. Но едут. Даже не едут, идут пешком за тридцать-сорок километров. Ездовые лошади едва тянут ноги. Выедешь — останешься пропадать в пути. Только и успели подготовить тягло к севу. Тягло справное, но тоже ненадолго при такой нагрузке.

Если думать обо всем этом, страшно становится. Но самая великая беда — война, конца-краю ей не видно. Одно утешение, одна неугасимая надежда — побеждать начали немцев, повсюду теснят их, гонят...

Сегодня с утра вроде бы погода заладилась. Облачно было, но над горами прорывалось иной раз солнце, появлялось небо над головой, снова хмурилось и снова закрывалось. А в обед резко похолодало и потемнело окрест. Снег или дождь, что-то собирается... Очень уж сумрачно стало вокруг. Выходя на пахоту после обеда, плугарям пришлось захватить мешки, чтобы закрыть головы от дождя или снега.

Шли по начатому загону со свалом борозды внутрь. Первым шел Султанмурат, вторым, шагах в двухстах — Анатай, замыкающим, почти в полуверсте, — Эркинбек. Сегодня плугари были в поле одни. Три плугаря и великие горы впереди. Три плугаря и великая степь позади. Председатель Тыналиев смог побывать здесь лишь поначалу. Дел у него много, ускакал, оставив бригадира Чекиша налаживать пахоту. Сегодня и Чекиш уехал требовать оставшиеся в аиле упряжи Эргеша и Кубаткула. Вот и получилось, на третий день остались плугари сами по себе — с плугами, с конями, с землей, которую предназначено было пахать и пахать, чтобы было где урожай собирать, чтобы были люди сыты...

Загон находился далеко от полевого стана — от юрты, в которой они жили, от стожка клеверного сена, от мешков овса, от всего того, что было теперь их домом. На полеваном стане оставалась лишь старая повариха. Больше ворчит, больше жалуется, что топливо сырое, что того нет, этого нет, вместо того чтобы вовремя приготовить еду. В поле кусок лепешки и горячая похлебка — большего не потребуешь. А она все ворчит, проклинает жизнь, как будто ее кто-то в чем-то упрекает. В аиле ее мало знали. Пришлая откуда-то. Другие не могут бросить дома — дети, хозяйство, а она согласилась приехать на Аксай, чтобы прокормиться возле плугарей. Пусть кормится на здоровье, только бы вовремя готовила еду. А она все суетится и не поспевает. Помочь ей пахарям некогда. Потому как лошадь — это не машина, не трактор, который выключил и сам пошел. Залил бак и поехал. Пахарь работает на поле сам как лошадь, а после ухаживает за четверкой плуговых лошадей, кормит их, поит и, добираясь до юрты, валится с ног... А на рассвете снова за дело... Самое трудное встать на рассвете.

Главная забота пахаря — чтобы плуги ходили, чтобы лошади, втягиваясь в работу, сохраняли тело, чтобы хватило у них сил до конца весны. Это важно. Очень важно. В первый день, когда начали пахать, через каждые десять-двадцать шагов лошади останавливались передохнуть. Задыхались. Пришлось чуть приподнять лемеха, уменьшить глубину вспашки. Но это вынужденная мера до тех пор, пока тягло втянется в хомут.

Сегодня уже заметно лучше пошла работа. Дружней берут кони, свыкаются, идут четверки, тесно сомкнувшись, припадая к земле, вытянув от напряжения шеи, как бурлаки на картинке в учебнике. Шаг за шагом, шаг за шагом тянут и тянут плуг, режущий лемехами толщу земную.

Но погода подводит. Вот уже снегом запахло, замелькали редкие белые хлопья... Значит, зима недобрала еще свое, значит, решила напомнить о себе на прощание. Зря она это делает. Для пахарей очень некстати...

Султанмурат успел накинуть на голову мешок, но все равно это не спасало его от снегопада.

Сидя верхом на бороздовом коне в середине упряжки, размахивая над головой кнутом, он все время был открыт ветру то с одной, то с другой стороны. Снег пошел густой, волглый, быстро тающий. Замельтешило, закружило вокруг. В плывущей снежной мгле скрылись горы, мир сомкнулся. И только понукающие крики плугарей носились в этой мгле, как крики птиц, захваченных глухим ненастьем.

А плуги шли. Черные плуги то появлялись на пригорке, как на гребне волны, то снова исчезали в низине...

Припадая к борозде, словно бы выползая из самой земли, шли четверки жадно дышащих, карабкающихся лошадей. Снег мгновенно таял на их горячих, напряженных спинах, стекая ручьями по бокам. Тяжело коням, очень тяжело, земля намочена, заскользила под копытами, сбруя отяжелела от влаги, лемеха застревают, засасываются в липнущих пластах целины. Но нельзя останавливать плуги. Надо пахать. Завтра, когда глянет солнце, эти борозды проветрятся и пашня будет готова. Нельзя терять времени.

Плуг застревал. Султанмурат то и дело слезал с седла, счищал кнутовищем комья глины с лемехов и, покричав следующим сзади Анатаю и Эркинбеку, услышав их ответные голоса, снова протискивался между мокрыми сбруями и телами лошадей к бороздовому коню, снова вскарабкивался в седло, и снова четверка шла вперед.

А снег не переставал. Плыли черные упряжки плугов, как корабли в белом тумане. И в той кружащей снежной тишине, поглотившей все звуки, носились над полем лишь оклики плугарей.

— Ана-та-ай!

— Эркин-бе-ек!

— Султанмура-а-ат!

По лицу текло: то ли талый снег, то ли пот; руки на поводьях взбухли, посинели от холода и сырости, ноги сдавлены с обеих сторон боками лошадей, трущихся друг о друга, больно ногам, хочется их куда-то убрать и некуда, но Султанмурат понимал, что по его следу идут Анатай и Эркинбек, что втроем они — шесть лемехов, что не имеет он права останавливать среди дня шесть лемехов, пахущих аксайскую землю. Только бы кони выдюжили, только бы кони не сдались. И потому он мысленно обращался к ним, внушал им:

«Потерпите, рожденные от Камбар-Аты [17], подружней налегайте. Ведь не каждый день будет так тяжело. Сегодня снег, а завтра его не будет. Вперед, вперед, чу, чу! Потерпите, рожденные от Чолпон-Аты, вон впереди конец загона, сейчас мы развернемся там и пойдем в обратную сторону. Потерпите, не сбавляйте шаг. Я не имею права избавить вас от плугов. Для этого мы вас готовили всю зиму. Другого выхода нет. Я гоню вас по мягкой и твердой земле, вам тяжело, но иначе хлеб не рождается. Старик Чекиш говорит, что так было и так будет вовеки. Он говорит, что хлеб, каждый кусок хлеба полит потом, только не все это знают и не все думают об этом, когда едят. А нам очень нужен хлеб. Очень нужен. Потому мы с вами здесь, на Аксае.

Чабдар, ты мой брат, ты мой бороздовый конь. Ты тянешь плуг и меня несешь на себе. Прости, что и тебя хлещу кнутом. Так надо. Не обижайся, Чабдар.

Чонтору, ты идешь слева, ты ступаешь по пашне, тебе тяжелее всех, но ты самый сильный после Чабдара. Тебя, Чонтору, отец мой Бекбай всегда хвалил. Помнишь? А помнишь, как все мы ездили в город... Писем нет от отца давно уже, это страшно, вам, лошадям, этого не понять.

Когда с фронта долго не пишут — это очень страшно. Мать совсем исхудала от тоски и страха. Когда оплакивали анатаевского отца, больше всех и горше всех плакали Инкамал-апай и мать. Они что-то знают, что-то недоброе, но не говорят. Они что-то знают... Чу, чу, Чонгору, я не позволю тебе сдаваться. Вперед, Чонтору! Держись!

И ты, Белохвостый, ты тоже мой брат. Ты идешь справа от меня, в середине упряжи. Ты должен здорово тянуть, вы с Чабдаром коренники. Ты красивый конь, у тебя необыкновенный белый хвост. Но ты не сдавайся, не падай духом. Я не позволю тебе устать. Чу, чу, Белохвостый! Не подводи!

Брат мой, Карий, ты простой и хороший конь. Когда я выбирал тебя в свою четверку, я очень надеялся на тебя. Ты работяга и нравом смирен. Я и тебя очень уважаю. Ты идешь с самого краю, и тебя всегда видно. По тебе судят со стороны, как дела наши, Карий, брат мой. И я тебя не обижу, ты только тяни, тяни, не сдавайся. Я тебе обещаю: когда мы закончим пахать и сеять на Аксае, когда мы будем возвращаться в аил, ты будешь идти также с краю, чтобы все видели тебя. И мы проедем мимо ее дома, и когда она выбежит на улицу, то сразу увидит тебя, Карий, брат мой. Мне так и не удалось повидаться с ней перед отъездом. Платочек ее при мне, он всегда при мне. Он спрятан от снега и дождя. Я о ней всегда, все время думаю. Я не могу о ней не думать. Если я перестану о ней думать, все опустеет и мне неинтересно будет жить...

Чу, чу, рожденные от Камбар-Аты! Дружней налегайте, вперед, вперед! Чу! Чу!.. А снег все идет, все идет! Какой мокрый снег. Измокли мы все с головы до ног. И ветер поддувает. Хорошо, если стряпуха наша догадалась прикрыть сено попонами. А если не догадается, намокнет сено, пропадет. Чем вас кормить будем — двенадцать голов? Надо было сказать ей перед отъездом, забыл, не думал, что снег повалит.

Странная она старуха, глаз у нее завидуший. Лошадей наших все расхваливает, не наглядится. Какие справные, говорит, кони, хорошо кормленные. Жира, говорит, на боках в два пальца. В прежние времена, мол, таких лошадей резали на больших поминках. В те времена, говорит, мясо ели до отвала. И когда варили конину в сорокаведерных котлах, то жир — зардеп [18], слово-то какое, — говорит, снимали сверху, зачерпывали дополна половником, уносили для больных. Тем жиром, говорит, попоить больного — сразу встанет на ноги. Вот ведь ненасытная, только о жире и думает. Как бы не сглазила лошадей. Да ну ее! В школе же говорили, что сглаз — это вранье. Пусть себе болтает, лишь бы вовремя еду готовила. А вчера удивила, мясо горного козла сварила. Худющий козел, но все-таки. Проезжали, говорит, какие-то охотники с гор, двое, завернули на огонек в юрту и вот оставили часть добычи. Спасибо тем охотникам, обычай знающие люди, выходит. Хотят, чтобы и в другой раз удача была им на охоте — первому встречному уделили полагающуюся долю. А мы, конечно, первые встречные на их пути, если они спускались с гор, вокруг никого. Скачи в горы, скачи в степь — никого не встретишь. А снег не перестает. Вот зарядил... Совсем выбились из сил...»

Лошади остановились, изнемогли... Султанмурат слез с седла, с трудом удерживаясь на отекавших, сдавленных ногах, как пьяный, прошелся, ковыляя вокруг упряжи. И так ему сделалось больно, невыносимо жалко взмыленных лошадей, дрожащих, мокрых от ушей и до копыт, тяжело, запаленно дышащих, что от жалости застонал.

А снег все падал и таял, падал и таял на дымящихся лошадиных спинах. Султанмурат сбросил с головы намокший тяжелый мешок, непослушными, окоченевшими руками стал растягивать петли сбруи, а потом не выдержал, разрыдался, обнимая шею Чабдара, и, плача, шептал: «Простите меня, простите!» — ощущая на губах горячий горько-соленый вкус конского пота...

— Эй, Султанмурат! Ты что там? — донесся голос Анатая, приближавшегося по борозде.

— Давай распрягай! — крикнул в ответ Султанмурат.

10

Зато утро следующего дня выдалось ясное и чистое. Никаких следов вчерашнего ненастья. Только сырость, только бодрящий холодок, только легкий румянец над землей, только подновленный белый снег на горах. Раннее солнце выкатывалось из-за гор, оповещая мир о себе ликующим, разливающимся вполнеба заревом весеннего восхода. Весь обширный Аксай со всеми его логами, равнинами, пригорками и низинами виден был далеко-далеко. Зато горы Великого Манасового хребта, подле которых они родились и выросли, казалось, подошли в ночи поближе — неправдоподобно, но шагнули горы в ту ночь в Аксай, к ним, чтобы, проснувшись поутру, пахари изумились их величию, их красоте и могуществу.

Близко и далеко, рядом и недоступно сияли на восходе горные кряжи...

Да, великое утро занималось в тот день на Аксае. На пашню вышли не спеша, решили подождать, чтобы землю обветрило.

А тем временем лошадей поскребли, сбрую привели в порядок, пересыпали подмокший овес. Солнце быстро нагрело. И тогда они двинулись к плугам. Каждый на своей четверке. Плуги засосало во вчерашних бороздах. Втроем выворачивали каждый, очищали лемеха, смазывали колеса. А потом впрягли лошадей, рассчитывали к вечеру довершить загон, а с утра передвинуться на новый участок. Работа шла споро. Лошади, отдохнувшие за ночь, ухоженные поутру, бодро трудились. Втянулись, стало быть, теперь уже по-настоящему. Втянулись в нелегкую лямку плуга. Но вчерашняя пахота по снегу оправдала себя — почва обветрилась, вывернутые по снегу пласты рассыпались под лучами солнца на мелкие ровные комочки. Значит, земля не «поломана», не «смята». Значит, пашня хороша.

Удачный был тот день. Бывают такие дни, когда все ладится, когда жизнь понятна, прекрасна, проста. Не зря готовились всю зиму, трудились, школу вынуждены были оставить; аксайский отряд действует, плуги идут, сегодня должны прибыть Эргеш и Кубаткул. Тогда их будет пять плугов, это десять лемехов. Сила. Настоящий десант! А потом посеют, заборонят поля — и тогда жди урожая! Яровой хлеб совсем неплохой хлеб. Бригадир Чекиш говорит, яровой хлеб по урожайности уступает озимому, но зато самый вкусный. Дело пойдет. Дожди будут. Не может быть, чтобы дожди подвели, когда столько труда уходит, дожди будут, только бы там, на фронте, держались, наступали наши, чтобы на счастье уродился этот хлеб, не застрял в горле...

Так они шли по загону. Впереди Султанмурат, за ним шагах в двухстах Анатай и почти в полуверсте Эркинбек...

Солнце пригревало все больше. И на глазах зазеленели легким налетом муравы степные пригорки. Как в сказке: едешь в один конец — зеленеет справа, едешь в другой конец — зеленеет слева. Земля влажно дышала обновившимся духом. А плуги шли по Аксаю, оставляя позади гривы свежих борозд...

Вспорхнул жаворонок с земли. Зазвенел, залился неподалеку, и еще где-то запел жаворонок, и еще где-то. Султанмурат улыбнулся. Поют себе в удовольствие, ни дома у них, ни листа, ни ветки над головой, живут себе в голой степи как умеют. И довольны. Весне радуются, солнцу радуются. А где они были вчера, как переждали непогоду? Ну, то теперь позади.

вернуться

17

Камбар-Ата — мифический покровитель лошадей.

вернуться

18

Зардеп — горячий конский жир-навар.

Весна теперь не уступит своего. И работы еще много, это только начало. Ну так что ж! Вот придут сегодня Эргеш и Кубаткул, и тогда всем десантом навалятся, пойдет дело, пойдет...

Погоня упряжку, Султанмурат заметил всадника. Он проезжал мимо пашни в отдалении, поглядывая в их сторону, путь держал в горы. За плечом ружье. На голове мохнатая зимняя шапка. Конь под ним рыжий, коренастый, выезженный. Ребята тоже заметили его. Стали кричать:

— Эй, охотник, заворачивай к нам!

Но охотник не откликнулся. Он проезжал мимо не приближаясь, все время поглядывая в их сторону. Султанмурат обрадовался его появлению, остановил коней и, привстав на стременах, крикнул в ту сторону:

— Эй, охотник, спасибо за ширалгу! [19] Спасибо, говорю! За ширалгу спасибо!

Но тот так и не откликнулся. Вроде бы не слышал и не понимал, о чем речь. Вскоре он скрылся за буграми. Значит, некогда, спешит по своему делу.

А примерно через полчаса появился второй охотник. Он тоже ехал в сторону гор и тоже с ружьем. Но он проезжал другим краем, по другой стороне загона, и тоже издали поглядывал в их сторону, проехал молча, не завернул, не поздоровался с плугарями. А полагается свернуть с пути, пожелать пахарям здоровья и урожая. Старик Чекиш говорит — люди не те пошли. Может быть, прав он, мудрый старик Чекиш.

А потом было самое волнующее событие.

Первым услышал Анатай. Молодец. Это он закричал что есть мочи:

— Журавли! Журавли летят!

Султанмурат глянул вверх — в чистом, беспредельно синем и беспредельно бездонном небесном просторе летели, медленно кружась, перестраиваясь на ходу, перекликаясь, журавли. Большая стая. Птицы были высоко. Но небо было еще выше. Необъятное огромное небо — и стая журавлей, плывущих живым островком в этой необъятности. Султанмурат смотрел, задрал голову, и лишь потом спохватился, неистово закричал:

— Ура-а! Журавли!

Все трое прекрасно видели, что то были журавли, но кричали друг другу как великую неожиданную новость:

— Журавли! Журавли! Журавли!

Султанмурат вспомнил, что ранний прилет журавлей — хорошая примета.

— Ранние журавли — хорошая примета! — крикнул он Анатаю, обернувшись в седле. — Урожай, урожай будет!

— Что, что? — не расслышал Анатай.

— Урожай! Урожай будет!

Анатай, обернувшись в сторону Эркинбека, кричал ему, в свою очередь:

— Урожай! Урожай будет!

И тот отвечал им:

— Слышу, слышу! Урожай будет!

А журавли плыли, купаясь в голубизне неба, плыли не спеша, кружась на плавно колышущихся крыльях, переключаясь то сдержанно, то многогласно, все разом, и снова в их рядах наступало спокойствие. В прозрачности того дня были хорошо видны их точеные вытянутые шеи, и тонкие клювы, и полуприжатые к телу ноги у одних и плотно прижатые у других. Иногда мелькали в движении белые концы маховых перьев по краям крыльев. Тогда-то, разглядывая птиц, плугари заметили, что стая медленно идет на снижение. Журавли все ниже и ниже спускались к земле, их как будто сносило каким-то течением туда, к дальним пригоркам. Никогда в жизни Султанмурат не видел журавлей вблизи. Они всегда проплывали над головой как видение, как сон.

— Смотри, садятся, садятся! — крикнул Султанмурат, и все трое, спрыгнув с седел, оставив плуги и упряжи, кинулись в ту сторону, куда опускалась журавлиная стая.

Быстро бежали. Вовсю! Хотелось увидеть журавлей вблизи: какие они из себя? Вот будет здорово!

Ах, как хорошо бежалось Султанмурату! Земля ложилась под ноги, сама шла навстречу. И вместе с землей снежные горы бежали навстречу, и журавлиная стая, кружащаяся в воздухе, с которой он не спускал глаз, плыла навстречу. Дух захватывало от бега и радости, и на бегу, ликуя, догоняя журавлей, подумал он, что, если журавли обронят перо, он найдет его и сохранит, подарит ей, Мырзагуль, журавлиное перо и расскажет ей все как было. Только бы догнать, только бы увидеть журавлей. Он бежал, неся в душе нахлынувшую нежность к Мырзагуль. Если бы мог, побежал бы он сейчас с журавлиным пером прямо к ней... Прямо к ней с журавлиным пером...

Они бежали, а немигающий жестокий зрачок следил за ними в прорезь прицела, плавно переводя мушку с одного на второго, на третьего. Ненавистно смотрел этот зрачок, как бежали мальчишки в прорези прицела к журавлям. Земля за пределами прицела была такая большая, а они на срезе зыбкой мушки такие крохотные... Небо в прицеле над ними было такое большое, а они такие маленькие. Щелчком сшибить — и не будет их... Все это в одну секунду могло исчезнуть, перестать мельтешить в прицеле, стоило лишь нажать на спусковой крючок.

— Эх, здорово я их усек, сейчас бы сшиб подряд, не успели бы пикнуть, — сдерживая дыхание, проговорил тот, что целился.

— Брось, дурило! С пульей не шутят, не целься зря, — ответил ему другой, что придерживал

лошадей под уздцы среди зарослей курая, в глубокой, как волчье логово, вымоине под бугром.

Целившийся промолчал, играя желваками, но мушки не снял.

— Не высовывайся, тебе говорят, — приказал ему тот, что держал коней. — Набегаются — уйдут. Тебе-то что?

Не подчинился. Лежал, привалившись щетинистой щекой к прикладу, сладостно было ему следить в прорезь прицела за бегущими недоумками, ошалевшими от криков журавлей. Зло брало. Бегут и смеются! Бегут и смеются! Вот радость-то! Перещелкал бы тремя выстрелами, даже не трепыхнулись бы. Бегут и смеются! И чего, спрашивается? Бегут и смеются...

11

Долго бежали плугари, но, когда прибежали на пригорок, увидели, что журавли снова набирали высоту... Значит, раздумали. А может быть, только показалось, что журавли садятся?

Ребята остановились, переводя дыхание. Запалились. А Султанмурат пробежал еще дальше и остановился, провожая журавлиную стаю со слезами на глазах...

Потом они вернулись и снова распахивали аксайскую землю. Хороший был день, замечательный. Пополудни приехала можара колхозная с сеном для коней. Картошки, мяса, муки, дров привез им возчик и сказал, что бригадир Чекиш велел передать — завтра прибудет сам и вместе с ним упряжки Эргеша и Кубаткула. Скажи, говорит, Султанмурату и ребятам: пусть не расстраиваются, все решено уже, завтра десант будет в полном составе. В обязательном порядке. И еще через два дня приедет к ним на Аксай и председатель Тыналиев. Вот такие вести привез возчик можары. Все вместе пообедали, и, когда собирались отправиться снова на пашню, стряпуха сказала Султанмурату, что хочет съездить в аил, завтра вернется с бригадиром Чекишем, что у нее в аиле какие-то срочные дела и что она должна привезти мыла для стирки. А чтобы они не остались без нее голодными, она напекла им лепешек на целый день и оставляет готовый суп, который они смогут подогреть себе. Не хотелось Султанмурату, чтобы она уезжала, но пришлось согласиться. Не будешь же спорить, задерживать взрослого человека.

С тем пахари отправились к своим плугам. Весь остаток дня допахивали загон. К вечеру завершили. Теперь можно было окинуть взглядом — большое поле подняли. Первое поле. А сколько еще пахать впереди. Но зачин есть. Без зачина же нет продолжения.

Уже в сумерках закруглили последнюю борозду, запахали огрехи на поворотах и, недолго мешкая, перетащили плуги на соседний загон, чтобы завтра с утра начать с нового места новую полосу.

Пока выпрягли лошадей и пока приехали на полевой стан, стемнело. Пусто на стане. Стряпуха давно уехала. Ну пусть, вернется ведь завтра.

Устали за день порядком. Не спеша рассупонили хомуты, поскидали их с конских шей, убрали сбрую в юрту, каждый на свое место. А лошадей, все двенадцать голов, тоже поставили на свои места у старой можары без колес, привезенной на полевой стан вместо кормушки. Да, каждого коня поставили на свое место к сену в можаре. Решили, что утром пораньше встанут, чтобы почистить коней от засохшего пота. Умылись впотьмах, потом разложили костерок в юрте и при свете костра поужинали всухомятку, разогреть сил не хватило.

вернуться

Ширалга — часть добычи.

Легли спать. Султанмурат уснул позже всех. Перед сном он еще раз вышел из юрты глянуть на лошадей. Кони спокойно стояли, уткнувшись мордами в сено, деловито хрумкали сухим клевером, пофыркивали с устатку. Да, спокойно стояли, голова к голове, по шесть коней с каждой стороны можары.

Погода обещала быть спокойной. Луна на ущербе, совсем узкий серп.

Султанмурат походил немного, почему-то ему страшно было. Безлюдье, мертвая тишина, непроглядная бескрайняя ночь. Занятый делом и заботами, не замечал он, оказывается, как страшно здесь ночью в глухой степи. Он поспешил вернуться в юрту. Умогнулся на своем месте и долго не мог заснуть. Лежал с открытыми глазами во тьме. Думал о разном, вспоминал. Загрустил, затосковал вдруг по дому. Как там мать без него? От отца, стало быть, все нет и нет никаких вестей. Было бы какое письмо, возчик бы ему сегодня привез, да еще суюнчу [20] потребовал бы. Отдал бы все, что захотел бы он. Да только что отдавать. У него тут ничего нет. Пообещал бы полмешка пшеницы, осенью в колхозе выдадут хлеба, вот и отдал бы. Думая об этом, он вздыхал горестно, припоминая, как Аджимураг взял с него слово, что если отец вернется с войны, то встречать его на станцию поскачут они вместе верхом на Чабдаре, он как старший впереди, а младший позади. И то, как, встретив отца, они отдадут ему Чабдара, а сами побегут рядом, а навстречу мать и много близких людей... Да, случись такое счастье, из плуга выпряг бы Чабдара и поскакал бы... Потом он во сто раз больше отработал бы...

Султанмурат тихо заплакал, потому что смутно понимал, что такого счастья, возможно, никогда не будет...

Потом он улыбнулся себе во тьме, вспоминая, как встретил у переступок на речке Мырзагуль. Даже сейчас он помнил прикосновение ее руки и то, как рука ее сказала: «Я рада! Я очень рада! Ты разве не чувствуешь, как я рада!» И то, как в ней он узнал тогда себя, и как был потрясен этим, и как был рад тому, что она — это он. Спит, наверно, уже Мырзагуль. А может быть, в эту минуту думает о нем. Ведь она — это он. Султанмурат нащупал ее платочек, спрятанный в кармашке гимнастерки, погладил его...

И так он забылся, заснул. Крепко уснул. Потом какой-то дурной сон навалился. Кто-то душил его, руки крутил. Тогда он проснулся и не успел закричать от испуга, как чья-то увесистая жесткая ладонь, разящая крепкой махоркой, зажала ему рот.

— Молчи, если хочешь жить! — сказал ему на ухо хрипло дышащий махоркой, сопящий человек. Он разжал ему челюсти, растискивая их до ломоты железной пятерней, затолкал в рот тряпку, и пока Султанмурат сообразил, что происходит, руки его были крепко стянуты веревкой за спину. Холодящий пот прошиб, и тело стало дрожать само по себе. Что за люди эти двое в юрте, зачем они его связали?

— Ну, этот готов, — прошептал один другому. — Давай тех.

Они копошились в темноте там, где спал Анатай. Анатай вскрикнул, забарахтался, но и его скрутили.

А Эркинбека ударили, кажется, по голове, он застонал и сразу утих.

Султанмурат все еще не мог понять, что происходит. Кляп распирал ему рот, он задыхался, руки сводило от веревок. В юрте стояла полная тьма. Но кто они, зачем эти люди здесь, зачем они так поступили с ними, чего они хотят, может быть, они хотят убить их? За что?

Султанмурат стал рваться, метаться, и тогда один из тех придавил его коленом и, стуча по голове твердым, железным пальцем, сказал негромко, но внятно:

— Брось брыкаться. Слышишь? Ты тут, кажется, главный. Мы вас связали, вы не будете отвечать, вы ни при чем. Запомнил? — говорил он, стуча то и дело железным ногтем по голове. — Будете умными — все обойдется. Когда вас найдут здесь, расскажете все как было. Какой с вас спрос! Но если что, если кто трепыхнется сейчас, прежде времени, прибью, как щенят. Душу вон! Тихо лежите. Не подохнете.

И они вышли из юрты, шумно дыша, ругаясь и отхаркиваясь. Султанмурат слышал, как они возились у коновязи, что-то делали, кони испуганно перетаптывались, храпели, шарахались. А через некоторое время послышался топот многих копыт, щелканье кнута, опять какая-то ругань, и топот коней стал удаляться и вскоре совсем затих.

Только тогда дошел до Султанмурата весь ужас случившегося. Конокрады увели их плуговых коней! Обида, ярость разрывали душу. Он метался, пытаясь освободить руки, но из этого ничего не получалось. И, задыхаясь, он стал крутить головой, выталкивая языком кляп. Во рту горело, кровоточило, распирало. И все-таки удалось наконец выплюнуть проклятый кляп изо рта. Как на свободу вырвался. Голова закружилась от притока воздуха в легкие.

— Ребята, это я! — подал он голос, приподнимая голову. — Это я! Это я говорю!

Но никто ему не ответил. Он услышал, как зашевелились Анатай и Эркинбек на своих местах.

— Ребята, — сказал он тогда, — не бойтесь. Я сейчас. Я сейчас что-нибудь придумаю. Вы только слушайте меня. Анатай, пошевелись, где ты?

Анатай замычал, заерзал, приподнимаясь с места.

— Анатай, подожди! Будь на месте! — Султанмурат покатился к нему через ворох одежды, сбруи. — А теперь ложись спиной ко мне, подставляй свои руки. Слышишь, спиной ко мне, подставляй руки...

Теперь они лежали спиной друг к другу, и Султанмурат нащупал веревки на руках друга. Командуя Анатаю, как лечь и как повернуться, нащупал узлы. Уговаривая Анатаю потерпеть, перенести боль в руках, все-таки нашел, зацепил какую-то петлю, веревка ослабла. А там Анатай сам выдрал свои руки на свободу...

12

Конокрады уходили не спеша. Уходили то рысью, то полугалопом, в темноте не очень-то поскачешь, да и не было необходимости скакать сломя голову. Сработано чисто. И от кого бежать — от мальцов? За сто верст вокруг ни души. А мальцы лежат связанные, сопят в две дырочки. Пусть благодарят судьбу, что еще так обошлось...

Они уводили с собой четырех коней. Рассчитали по паре на каждого. Больше не возьмешь. Дай бог, чтобы эти в горле не застряли... Путь предстоял далекий, по безлюдным местам. Дня три только до пригородов Ташкента. Да там еще. Только бы добраться. А там дело плевое. На Алайском базаре в Ташкенте мясо пойдет нарасхват по килограммам, по граммам, люди там

торговые, умелые. Сплавят. То их забота. А за четырех отменных коней, мясо которых сейчас на вес золота, деньги как увезти? Вот задача, кроме смеха! Куда столько денег! Вот это хапанули! Быстрее бы уж. Все! Теперь ищи ветра в поле. Деньги будут — согнуть нетрудно. Да и пора, давно пора уже ноги уносить отсюда, пока не накрыли. А накроют — крышка! Трибунал. Только хрен им ищачий! Деньги будут — жизнь будет! За Ташкентом сколько еще городов и земель...

Не зря говорят — судьба. Совсем доходили уже. Ну-ка побегай по горам в мороз и стужу, пока добудешь его, архара, а добудешь — мясо паршивое по этой поре: дикое, одни жилы. Не угрызешь. Да и патроны были уже на исходе. Долго не протянули бы. А тут кто бы мог подумать — как с неба свалились на Аксай эти мальцы с плугами. Сам бог послал! Есть он, есть наверху — каждому свое определил.

Брали с краю, не выбирали, лошадки все как на подбор, по два пальца жира на ребрах, таких сейчас во всем свете не сыщешь. Уваристое мясо будет — оближешься. Есть он, есть бог наверху, есть! Послал добычу, послал удачу!..

Они уходили не спеша. Незачем было вес лошадей терять. Такие лошадки мясникам на Алайском базаре не снятся. Выкладывай деньги, жмоты, получай!..

Вот они, красавцы, все четыре, на длинных поводьях ременных, заранее заготовленных, рысят, пофыркивают, знали бы, куда их угоняют. Угон тоже продуман. Табуном не угонишь, разбегутся. Один держит поводья в руках, сам посередине в седле, а кони по бокам на длинных поводьях, два справа, два слева. А напарник сзади на рыжем коне, погоняет хлыстом, не дает задерживаться. Только так. Не спеша, но и не тихо. С умом, с умом требуется дело делать...

13

Чабдар оказался на месте. На Чабдара вскочил Султанмурат, выбежав из юрты, и, кружась на нем, успел прокричать:

вернуться

20

Суюнчу — подарок за радостную весть.

— Анатай, скачи в аил! Не задерживайся! Скачи! Зови наших! А я придержу их! Я догоню их. Только ты быстрее! А ты, Эркинбек, будь здесь и ни на шаг никуда. Ясно? Скачи, Анатай, скачи!..

А сам унесся на Чабдаре в ту сторону, куда ушли конокрады, судя по топоту угона.

Вперед, Чабдар, брат мой Чабдар, вперед, догони их, догони! Я не упаду, я не расшибусь. Не бойся за меня. Вперед, Чабдар! Если погибнем, то вместе, только скачи быстрее, быстрее, я понимаю — темно. Страшно, и тебе страшно. И все равно вперед. Быстрее, быстрее! Где они? Что там мелькнуло впереди? Что-то там движется. Только бы не упустить. Вперед. Чабдар, вперед... Не упади, Чабдар, не упади...

14

— Погоня! — испуганно крикнул один из конокрадов, уловив приближающийся топот скачущего коня.

И они припустили, пошли галопом, потом вскачь. Теперь прохладиться было некогда. Теперь или пан, или пропал! Теперь бежать. Теперь уходить без оглядки.

Ведущий стянул поближе в кулаке поводья угоняемых коней, прилег к седлу. А напарник, нахлестывая сзади кнутом, погоняя что есть мочи, торопил. От топота множества бегущих копыт земля загудела. Ветер засвистел в ушах. Ночь стремительно летела навстречу черной, бескрайней, гремящей рекой.

— Стой! Не уйдете, сто-ой! — кричал им Султанмурат, все ближе и ближе настигая их кучу. Но его голос доносился лишь урывками в бешеном гуле скачки.

Чабдар! Великий конь Чабдар! Отцовский конь Чабдар! Как он шел! Точно бы понимал, что не может не догнать и не может, не имеет права упасть в этой страшной скачке по Аксаю среди ночи.

Султанмурат быстро поравнялся с конокрадами, пошел краем, им-то с лошадьми на поводу не так легко было уходить.

— Отдайте наших лошадей! Отдайте! Мы на них пашем! — кричал Султанмурат.

Напарник повернул на скаку, кинулся к нему зверем, хотел сшибить с коня. Но тот увильнул. Молодец, Чабдар, молодец!

Уходя от преследующего конокрада, Султанмурат выскочил вперед, зашел сбоку и стал теснить, заворачивать ведущего с конями.

— Назад! Назад! — кричал он.

— Уйди, убью! — орал тот, разворачивая коней, но Султанмурат снова выходил вперед, снова теснил, мешал прямому ходу.

И так они шли. Напарник всякий раз отгонял его, а он выходил то с одной, то с другой стороны, встревал на пути, мешал угону.

А потом прогремел выстрел. Султанмурат не услышал его, увидел лишь яркую вспышку и успел поразиться освещенному на миг огромному пространству Аксаю и черной куче лошадей и людей, дико скачущих мимо него...

А сам, падая с лошади, отлетел в сторону, покатился кубарем, обжигаясь о каменистую твердь, и, вскочив на ноги, сразу понял, что конь под ним не просто споткнулся. Лошадь билась на боку, колотясь головой о землю, хрипела и отчаянно сучила ногами, точно бы все еще порывалась бежать...

Истощенно крича от боли и ярости, сам не ведая того, что делает, Султанмурат кинулся вслед за конокрадами:

— Стой-ой! Не уйдете! Догоню! Вы убили Чабдара! Отцовского коня Чабдара!

Он бежал не помня себя он бежал в ярости и негодовании, он бежал и бежал за ними, словно бы мог догнать их, остановить и вернуть назад. Угон уходил, стучали копыта во тьме, угон

уходил, отрываясь все дальше, а он не мог и не желал примириться — пытался догнать. Он бежал, казалось ему, охваченный пламенем, все тело его саднило, особенно лицо и руки, ободранные в кровь. Чем быстрее и дольше бежал он, тем нестерпимей горели лицо и руки...

Потом он упал, покатился по земле, захлебываясь, преодолевая удушье. Он не знал, куда деть лицо и куда деть руки от невыносимой боли. Он корежился, вопил, стонал, ненавидя эту ночь, ненавидя этот яркий, возникающий всплесками огненный свет в глазах...

Он слышал, как постепенно удалялся, угасал топот угона. Все слабей и глуше вздрагивала земля, поглощая далекий бег копыт, и вскоре все стихло вокруг, замерло...

И тогда он встал, побрел назад, рыдая громко и горько. Никак и ничем не мог он утешить себя, и некому было утешить его в безлюдном ночном Аксае. Плача, вспомнил он, как обещал Аджимурату взять его с собой, когда отец вернется с войны. Нет, теперь уж им с Аджимуратом не придется скакать на станцию встречать отца с фронта на отцовском коне Чабдаре. И теперь не посеять им на Аксае столько хлеба, сколько требовалось. И не будет теперь того дня, торжественного и радостного, когда они вернутся с аксайских полей, волоча за собой в упряжках плуги, сияющие зеркальными, напаханными лемехами. И не выйдет она на улицу порадоваться, не увидит его въезд в аил и не восхитится им, не подивится ему... Сокрушались мечты. Оттого и плакал он...

15

Принюхиваясь на бегу и все явственней ухватывая по ветру запах свежей крови, волк бежал куцим скоком, все ближе выходя к тому месту, откуда доносился этот сильный, возбуждающий его дух. То был крупный, хотя и отощавший за зиму старый зверь с жесткой кабаньей холкой. Он перебилса зиму — пока бродили на Аксае сайгаки, теперь они ушли с Аксае в Большие пески на расплод. Молодые волчьи стаи держались в горах, перехватывая ослабевших архаров на тропах, а он переживал самую тяжкую пору. Ждал появления сурков после зимней спячки. Со дня на день ждал, с часу на час. Вот-вот должны были сурки потянуться на солнце. То было бы спасением. Как долго лежали сурки в земле, в своих глубоких, недоступных норах! Как голодно и тоскливо было жить волку в эти дни на Аксае!

Волк бежал на манящий запах крови, испытывая закипающую глухую злобу, в опасении, как бы кто другой не завладел добычей... То была большая еда, то была конина. Запах пота и мяса дурманил, кружил голову! За всю свою жизнь раза три или четыре удавалось ему вместе со стаей загонять лошадей.

Волк бежал, роняя слюну из полураскрытой пасти, волк бежал, испытывая острые схватки в пустом желудке. Волк бежал белесой скачущей тенью в сереющей мгле предрассветной ночи.

Как ни хотелось волку с налета кинуться на добычу, инстинкт сработал — переборол себя, сделал круг поодаль. И тут он оцепенел — возле убитой лошади оказался человек. Человек привстал испуганно.

— Эй! — вскинулся Султанмурат и притопнул ногой.

Волк отпрянул, неохотно потрусил в сторону, туго зажав хвост между ногами. Надо было уходить. Здесь человек. Человек мешал завладеть добычей. Отбежав немного, волк резко остановился и, глухо рыча, обернулся к человеку. Сизым злобным всполохом вспыхнули волчьи глаза. Пригнув голову, скалясь и свирепея, волк начал медленно приближаться.

Султанмурат приостановил его угрожающим криком и успел сдернуть с головы Чабдара

уздечку. Он быстро скрутил уздечку жгутом, намотав вокруг нее поводья, а тяжелые железные удила выпростал наружу. Теперь удила были его оружием.

Волк подошел еще ближе, прижался к земле, вздыбив загривок, и замер перед прыжком, как сжатая пружина.

Султанмурат первый раз в жизни отчетливо услышал свое сердце — оно обозначилось в груди напряженно сжимающимся комом...

Султанмурат стоял наготове, пригнувшись, с уздечкой наотмашь...

mir-knigi.org